

Рафаэль Сабатини

Капризы Клио

## НОЧЬ МИЛОСЕРДИЯ. Преступление леди Алисы Лайл

Одна давняя, но памятная англичанам специальная выездная сессия суда присяжных, по справедливости названная «Кровавой», среди множества других рассмотрела и дело по обвинению леди Алисы Лайл. Приговор и его исполнение потрясли общество, и потому эта история дошла до нас во всех подробностях. Даже в те жестокие времена, когда публичные казни были обычным развлечением обывателей, смертный приговор пожилой даме, вынесенный лишь за то, что она воспользовалась единственной в ту пору привилегией женщины — проявлять милосердие к гонимым, поверг людей в ужас. В истории Англии это был первый подобный случай, и весьма зыбкий фундамент обвинения немало способствовал распространению дурной славы кровожадного верховного судьи Джефрейса, баронета Уэмского, для которого это дело стало первым из рассмотренных им в западных графствах.

Историку, желающему разобраться в побуждениях и психологии участников тех или иных событий, судебный процесс над Алисой Лайл особенно интересен тем, что в действительности она пострадала вовсе не вследствие предъявленного ей формального обвинения. Обвинение было скорее предлогом, нежели причиной, но этого предлога оказалось достаточно, чтобы бесстрастная Немезида покарала невинную жертву.

...Глава протестантов герцог Монмутский проиграл битву при Седжмуре. Западные графства, где народ откликнулся на призывы герцога и поддержал восстание, объял страх: всем были известны фанатичная жестокость и мстительный нрав короля. Командовавший королевской армией при Седжмуре Фэвершэм оставил комендантом Бриджуотера командира Танжерского гарнизона полковника Перси Керка. Солдаты и офицеры были достойны своего полковника. Знамя Первого Танжерского полка, некогда созданного для войны против язычников, украшала эмблема с пасхальным агнцем, и за солдатами полка закрепилось язвительное прозвище «ягнята Керка».

Из Бриджуотера полковник Керк предпринял карательную экспедицию в Тонтон, где остановился в гостинице «Белый олень». Перед воротами гостиницы стоял врытый в землю прочный столб с перекладиной-вывеской, и полковник, решив, что будет чрезвычайно забавно, если сей символ гостеприимства послужит виселицей, превратил ворота временного приюта во врата вечного забвения. Керк приказал доставить пленных, которых его солдаты гнали в кандалах от самого Бриджуотера, и, не тратя времени на судебную комедию, распорядился вздернуть их перед гостиницей. Предание гласит, что, когда пленников затолкали на импровизированный эшафот, Керк и его офицеры, расположившиеся в комнатах у окон, подняли бокалы за их счастливое избавления от юдоли земной, а когда жертвы задергались в конвульсиях, Керк приказал бить в барабаны, дабы джентльменам сподручнее было плясать в общем ритме.

Полковник, как видим, обладал своеобразным, если не сказать изощренным, чувством юмора, которое, вероятно, пробудилось в нем на Североафриканском побережье.

В конце концов полковника Керка отозвали и даже пожурили, однако отнюдь не за варварские забавы, хотя дикость их даже тогдашней, не избалованной сантиментами публике могла показаться из ряда вон выходящей, а за мягкость, которую начал проявлять сей джентльмен, обнаружив, что многие из потенциальных жертв готовы щедро оплачивать его милосердие.

Тем временем в атмосфере террора люди, имевшие основания бояться королевского мщения, спешили спрятаться кто куда мог. Двоим из этих несчастных удалось бежать в Хэмпшир, где, как они надеялись, можно было рассчитывать на относительную безопасность, потому что война обошла это графство стороной. Первый, священник Джордж Хикс, сражался в армии Монмута; второй, адвокат Ричард Нелторп, был объявлен вне закона за участие в Райхаусском заговоре. Обоим срочно требовалось убежище, и Хикс вспомнил об одной доброй леди из Мойл-скорта, последовательнице учения нонконформистов.

Ее покойный муж, Джон Лайл, занимал должность лорда — хранителя печати при Кромвелле и некогда участвовал в суде над королем Карлом I. Во время Реставрации Джон Лайл бежал в Швейцарию, но длинная рука Стюартов достала его и на материке. За голову беглеца была обещана награда, и в Лозанне сэр Джон пал жертвой алчного убийцы. Многим было известно, что жена лорда-хранителя в свое время помогла немалому количеству роялистов скрыться от индипендентов, ее преданные друзья-тори ходатайствовали за нее, поэтому Алису Лайл оставили владелицей поместья погибшего мужа.

С тех пор минуло двадцать лет. Леди Алиса Лайл — собственно говоря, ее называли так лишь по старой памяти да из вежливости, поскольку титулы, пожалованные Кромвелем, не сохранились после Реставрации — продолжала жить у себя дома и собиралась окончить свои дни в мире. И эта история не была бы написана, если бы не затаенная ненависть врагов к имени, которое носила состарившаяся и ни в чем не повинная дама и если бы убийство ее мужа не произошло так далеко, в Швейцарии, ибо оно не насытило алчущих насладиться созерцанием трупа врага. На закате жизни Алисе Лайл выпал жестокий жребий. И своим орудием Судьба избрала священника Хикса.

Хикс уговорил некоего Данна, пекаря из Уорминстер.1 и сторонника нонконформистской церкви, передать леди Лайл его просьбу о предоставлении убежища. 25 июля Данн отправился с этим поручением в Эллингем. Ему предстояло пройти около двадцати миль. Миновав Фо-вант и Чок, он добрался до Солсбери-плэйн, но не знал дороги дальше и разыскал знакомого по имени Бартер, тоже нонконформиста, который взялся его проводить.

Субботним вечером они достигли усадьбы Мойлскорт, где их принял дворецкий леди Лайл. Данн, который был понахальнее, но туповат, так с порога и бухнул, что его послали спросить, не примет ли миледи преподобного Хикса.

Степенный пожилой дворецкий Карпентер сразу насторожился. Хотя он не мог связать скрывающегося пресвитерианского священника с недавним восстанием, у Карпентера наверняка возникло подозрение, что Хикс по меньшей мере из тех, против кого направлен указ, запрещающий проповеди на тайных молитвенных собраниях. Поэтому дворецкий, поднявшись к миледи, не только изложил ей суть просьбы, но и предупредил ее на этот счет.

Сухонькая старушка с поблекшими глазами только улыбнулась в ответ на его предупреждение. Ей не раз случалось укрывать беглецов в дни Республики, и все обходилось благополучно. И леди Алиса распорядилась ввести посетителя.

Карпентер, снедаемый дурными предчувствиями, провел Данна к хозяйке и оставил их вдвоем. Данн изложил свою просьбу, не упомянув, впрочем, о том, что Хикс воевал на стороне Монмута, и она поняла его так, что он скрывается от указа, направленного против всех нонкон-формистских проповедников. Потом Данн добавил, что у Хикса есть товарищ, и леди Лайл пожелала узнать его имя.

— Не знаю, миледи. Однако я думаю, он участвовал в сражении.

Леди Лайл задумалась. Но жалость скоро поборола сомнения в ее доброй душе.

— Хорошо, — сказала она, — я предоставлю им кров на одну неделю. Приведите их во вторник, когда стемнеет, да идите задней дорожкой через сад, чтобы вас не заметили.

С этими словами хозяйка встала и взяла свою эбеновую трость, чтобы самой проводить гостя и распорядиться о его ужине. На кухне она заметила Бартера, который при ее появлении встал и почтительно поклонился. Задержавшись на пороге, леди Лайл обратилась к Данну с тихим вопросом и улыбнулась, выслушав столь же тихий ответ.

На обратном пути Бартер поинтересовался у своего спутника, что означала эта сцена.

— Миледи спросила меня, знаешь ли ты что-нибудь о деле, — невозмутимо отвечал Данн. — Я сказал: «Нет».

— О деле? — пробормотал Бартер. — О каком деле?

— Ну, разумеется, о том, ради которого мы приходили, — горделиво усмехнувшись, ответил Данн, и этот ответ посеял в душе Бартера смутную тревогу. Ее только усилили прощальные слова Данна, подкрепленные монетой в полкроны:

— Это задаток. Остальное получишь, если встретишь меня здесь во вторник и снова покажешь дорогу к Мойлскорту. Со мной будут два очень богатых джентльмена — по десять тысяч фунтов годового дохода у каждого. Скажу тебе прямо, я надеюсь сорвать с них немалый куш — такой, что мне больше никогда не придется работать. И ты, если встретишь нас здесь, тоже можешь рассчитывать на щедрую награду.

В глубоком раздумье Бартер побрел домой, и больше он размышлял над хвастливыми речами Данна тем больше недоумевал. Казалось очень странным, с какой стати честным людям платить непомерную цену за такую ничтожную услугу. Он терялся в догадках, пока в его неповоротливом мозгу не мелькнула мысль о мятежниках. С этого момента сомнениям уже не было места, и испуганный Бартер решил немедленно сообщить обо всем ближайшему шерифу.

По иронии судьбы его признание выслушал не кто иной, как полковник Пенраддок. Этот сухопарый, желчный и решительный человек проявил к рассказу о гостях леди Лайл самый пристальный интерес, и немудрено — ведь тридцать лет тому назад Джон Лайл, лорд-председатель Верховного суда, приговорил к смерти его отца, участника Уилтширского восстания.

— Ты — честный парень, — заметил полковник, когда Бартер умолк. — А как звать этих негодяев?

— Тот человек не называл никаких имен, сэр.

— Ну, ладно, скоро мы сами это выясним. Ты сказал, вы отправитесь?..

— В Мойлскорт, сэр. Их собирается приюти» леди Лайл.

Мрачная улыбка скользнула по обрамленному тяжелым париком лицу полковника.

— Хорошо. Можешь идти, — произнес он шиле минутного размышления. — И будь уверен, мерзавцев схватят прямо там, на месте встречи.

Однако, к удивлению Бартера, во вторник на Солсбериплэйн не оказалось никаких солдат. Он

без всяких помех отвел в Мойлскорт Данна и его спутников — низенького, дородного мистера Хикса и тощего, долговязого Нелторпа. А сказочное вознаграждение, обещанное ему Данном, ограничилось на деле пятью шиллингами. Озадаченный бездействием полковника. Бартер поспешил к нему. Его страхи возобновились, и он хотел поскорее сообщить о местонахождении преступников, чтобы снять с себя всякое подозрение в сообщничестве.

Пенраддок выглядел очень довольным.

— Что ж, отлично. Ступай домой и ни о чем не тревожься. Ты исполнил свой долг, а остальное — уже наше дело. — И он повелительным жестом отпустил незадачливого осведомителя.

Простодушный Бартер не подозревал, что арест пары изменников-пресвитерианцев был в глазах полковника сущим пустяком. Месть дому своих кровных врагов Лайлов — вот что занимало мысли неукротимого сына старого Пенраддока.

А в это время беглецы вместе с Данном ужинали под гостеприимным кровом Мойлскорта. Прежде чем отойти ко сну, леди Алиса, как заботливая хозяйка, зашла узнать, есть ли у ее гостей все необходимое. Они разговорились. Как и следовало ожидать, беседа вращалась вокруг событий, занимавших умы всей Англии, — заговора Монмута и Седжмурского сражения.

Леди Лайл не задавала им никаких вопросов, но, оставшись одна, почувствовала смутное беспокойство. Что, если люди, воспользовавшиеся ее гостеприимством, что-то скрывают? Это показалось ей вполне вероятным, и она решила при первой возможности разрешить свои сомнения.

Наутро, проведя тревожную ночь, она послала за преподобным Хиксом. Священник не любил и не умел хитрить, и уже через несколько минут леди Лайл без особого труда выяснила, что его товарищ Ричард Нелторп объявлен вне закона за участие в Райхаусском заговоре. Эта новость не доставила ей никакой радости. Леди Лайл была не только испугана, но и возмущена обманом, поставившим ее в столь ложное положение. Привыкшая к честности, она не стала скрывать своего неудовольствия.

— Вы должны понять меня, сэра, — заключила миледи. — Вам нельзя здесь оставаться. Пока я думала, что вы подвергаетесь преследованиям лишь за религиозные убеждения, я с готовностью шла на некоторый риск. Но присутствие вашего друга меняет дело. Я не хочу подвергать опасности ни себя, ни моих дочерей. Кроме того, я всегда питала отвращение к заговорам и смутам. Я сохраняю лояльность к нынешнему правительству, и потому прошу вас обоих уйти, как только вы позавтракаете.

Грузный Хикс, понурив голову, молча стоял перед старой дамой. Он не пытался переубедить ее. Наступила тягостная пауза, которую внезапно прервал громкий стук в ворота. Через минуту в комнату вбежал побледневший Карпентер.

— Солдаты, миледи! Нас предали. Они знают про мистера Хикса! Что нам делать? Что делать?!

Леди Лайл сохранила невозмутимость и ни голосом, ни лицом не выказала ни малейшего волнения. Но душу старой хозяйки Мойлскорта наполнила жалость — и к перепуганному слуге, и к своим неудобным гостям. Леди Алиса вздохнула.

— Что ж, в таком случае следует спрятать этих несчастных джентльменов, — произнесла она, и Хикс, выйдя из замешательства, осыпал поцелуями руки миледи. Он клялся, что скорее даст себя повесить, чем навлечет беду на ее дом.

Но переспорить леди Лайл было не так-то просто. Повинуясь приказу госпожи, дворецкий потащил Хикса вниз по лестнице, прихватив по дороге дрожащего Данна. Затолкав обоих в сарай, где хранился солод, он наспех прикрыл их пустыми мешками и вернулся в дом. Нелторп уже куда-то исчез, не дожидаясь посторонней помощи.

Удары в ворота становились все громче, и грубые голоса из-за стены требовали именем короля немедленно впустить их. Выглянув в окно, сестры Лайл увидели взвод солдат в красных мундирах, во главе с сержантом. Чуть поодаль стоял полковник Пенраддок, который решил лично руководить облавой, чтобы насладиться зрелищем горя и унижения вдовы своего врага.

— Откройте ворота! — крикнул полковник, заметив испуганные лица девушек. — В этом доме мятежники, и я пришел их арестовать.

В эту минуту Карпентер откинул засов, и двор заполнили красные мундиры. Пенраддок подошел к старику-дворецкому и положил тяжелую руку ему на плечо.

— Мне известно, что прошлой ночью в дом твоей хозяйки явились чужие, — произнес он внушительно, но без гнева. — В твоих интересах быть со мной откровенным, приятель. Итак?

Дворецкий задрожал.

— Сэр... сэр... — бормотал он, заикаясь.

— Пойдем, дружище, — пригласил полковник. — Раз уж я знаю, что они здесь, давай скорей покончим с этим делом. Покажи, где они спрятаны, если хочешь спасти свою шею от петли.

Этого оказалось достаточно. Малодушие дворецкого отняло у беглецов последние шансы — под жестким взглядом полковника Карпентер мигом выложил все, что ему было известно.

— Умоляю вас, сэр, не выдавайте меня миледи, — хныкал он, плетясь к сараю, где скрывались Данн и Хикс. Стыд в его душе боролся со страхом. — Смилуйтесь, сэр...

Полковник лишь отмахнулся от него, как от назойливой мухи, распахнул дверь и указал солдатам на кучу мешков, под которыми, едва дыша, затаились его жертвы. Но когда их вытащили, он резко обернулся к дрожащему Карпентеру.

— Здесь только двое! — крикнул полковник. — Где третий? Я знаю, что ночью сюда явились три негодяя. Не вздумай вилить, старый мошенник. Куда ты девал третьего?

— Клянусь Богом, сэр, я понятия не имею, где он, — весь сжавшись, плаксиво пролепетал дворецкий. Пенраддок повернулся к своим людям:

— Начинайте обыск!

Начался погром. Солдаты, грохоча сапогами, обходили комнату за комнатой. В поисках тайников они колотили прикладами по деревянным стенам, не колеблясь вонзали штыки в те места, которые казались им подозрительными. Содержимое шкафов и сундуков вываливалось на пол, а большое зеркало со звоном разлетелось на тысячу осколков. Сержант приказал выломать несколько половиц

— ему показалось, что под ними пустота. Впрочем, усердие храбрых вояк было не вполне бескорыстным: вещи, мало-мальски представлявшие ценность, моментально исчезали в их бездонных карманах.

Леди Лайл не вмешивалась в происходящее, и только когда бесчинства солдат достигли высшей точки, она стала в дверях, опираясь на свою неизменную трость, и устремила взгляд

на торжествующего полковника. Но даже сейчас в ее выцветших глазах было не возмущение, а лишь сдержанный упрек. Скрывая волнение за легкой насмешливостью, леди обратилась к мстителю в красном мундире:

— Вы не изволили меня предупредить, сэра, что мой дом отдан вам на разграбление.

Сняв свою украшенную плюмажем треуголку, полковник церемонно поклонился хозяйке Мойлскорта.

— Я действую именем короля, — ответил он.

— Король, — возразила она, — мог приказать вам обыскать мой дом, но не громить и не грабить его. Ваши люди ведут себя, как разбойники.

Пенраддок пожал плечами.

— Они ведут себя, как солдаты. И вы не вправе ожидать от них хороших манер после того, как сами преступили закон, пряча у себя мятежников, врагов короля.

— Это неправда, — упрямо произнесла леди Алиса. — Я не знаю ни о каких врагах короля.

Полковник, глядя на нее с высоты своего роста, усмехнулся. Она была такой маленькой, щедедушной и старой, что, казалось бы, одна ее внешность должна была исключить всякую мысль о мести. Но полковник Пенраддок думал иначе.

— Двое из них — пресвитерианец Хикс и мошенник Данн — уже схвачены нами. Не пытайтесь провести меня, леди Лайл. Пожалейте себя. Мне известно, что в доме прячется еще один человек. Выдайте его, и вы будете избавлены от дальнейших хлопот.

Она посмотрела ему в глаза и неожиданно улыбнулась в ответ.

— Я не понимаю вас, полковник, и боюсь, что ничем не смогу вам помочь.

Пенраддок побагровел.

— В таком случае, миледи, обыск будет продолжен... — начал он, но в эту минуту раздался крик из соседней комнаты, возвестивший, что все кончено. Перемазанный сажей Нелторп извивался в руках дюжих солдат — его вытащили из каминной трубы, где он пытался найти спасение.

Через месяц, 27 августа, леди Алиса Лайл предстала перед судом в Винчестере по обвинению в государственной измене.

Секретарь огласил заключение королевского прокурора. В нем говорилось, что леди Лайл, действуя тайно и злонамеренно, нарушила свой верноподданнический долг, оказав поддержку и предоставив укрытие Джону Хиксу — заведомому изменнику, поднявшему оружие против короля.

Такое начало не предвещало ничего хорошего, но маленькая седовласая дама в скромном сером платье безмятежно рассматривала лорда-председателя Джефрейса и четырех судей по обе стороны от него. Она не сомневалась, что будет оправдана. Обвинительный приговор за акт христианского милосердия казался ей делом совершенно немыслимым. К тому же наружность лорда Джефрейса внушала наивной старушке дополнительную надежду. Его бледное лицо, оттененное пурпурной мантией, подбитой горностаем, выглядело красивым и одухотворенным, а в больших глазах читались сострадание и ум — так, во всяком случае, казалось миледи. Она не догадывалась, что томный вид председателя суда объяснялся двумя прозаическими причинами — вчерашней попойкой и неизлечимой болезнью.

Джефрейс был обречен, знал об этом и мстил всему миру, неуклонно приговаривая к смерти всех, кого только мог.

Заседание продолжалось. Королевский прокурор обратился с речью к присяжным. Леди Лайл, к своему изумлению, услышала, что она всегда оставалась тайной противницей законной власти и сочувствовала заговору Монмута. Нелепость этого утверждения возмутила ее. Процесс проходил без участия адвоката, и старой даме предстояло собственными силами защищать свою жизнь, состязаясь с целой бандой прожженных крючкотворов. Впрочем, сама она считала, что дело идет не о жизни, а лишь о ее добром имени.

— Милорд, — не выдержала леди Алиса при упоминании о Монмуте, — я всей душой осуждаю этот мятеж, как и любая женщина в Англии!

Джефрейс подался вперед, протестуя замахав рукой.

— Миссис Лайл, мы должны соблюдать общепринятую судебную процедуру. Вам будет предоставлено слово для оправдания, и тогда вы изложите присяжным все, что сочтете необходимым. Милостью Всевышнего правосудие в нашей стране нелицеприятно, и суд его величества не отступает от принципов справедливости. А что касается вашего заявления, то я, разумеется, от всего сердца молю Господа, чтобы вы оказались невиновной.

Мягкий тон и благочестивые выражения лорда-председателя произвели на леди Алису самое благоприятное впечатление. Успокоенная, она опустилась на скамью, решив запастись терпением.

Суд приступил к допросу свидетелей. Первым был вызван Данн. Вытягивая каждое слово, его заставили рассказать о том, как он с ведома и согласия миледи проводил к ее дому двух беглецов. В зале воцарилась напряженная тишина.

— Была ли, по вашему мнению, обвиняемая Алиса Лайл знакома ранее с изменником Хиксом? — задал вопрос один из судей.

— Точно не знаю, ваша светлость, — проговорил Данн, пытаясь сообразить, какой ответ был бы ему выгоднее.

Повернувшись в кресле, лорд Джефрейс впился в свидетеля пронизывающим взглядом.

— Значит, вы утверждаете, будто по одному вашему слову леди Лайл приглашает к себе в дом совершенно незнакомых людей? Разве Майлскорт — гостиница? Здесь собрались не одни глупцы, мистер Данн, и я советую вам быть осторожнее. Возможно, суду известно куда больше, чем вы полагаете. — И насмешка в голосе председателя сменилась неприкрытой угрозой.

Данн затрясся.

— Милорд, я говорю правду, клянусь вам! Но взгляд и речь судьи уже обрели прежнее добродушие.

— Очень рад это слышать, мистер Данн. Я только прошу вас быть повнимательнее. Нет ничего лучше чистой, голой правды, и нет ничего отвратительнее разукрашенной лжи. Ну-с, а теперь вернемся к вашим показаниям. Продолжайте.

Однако пекарю совсем не хотелось продолжать. Охваченный страхом, он начал врать направо и налево, не заботясь даже о видимости правдоподобия. А когда один из судей поинтересовался, чем объясняется проявленное свидетелем участие к делам незнакомых людей, тот ответил, что действовал из человеколюбия, но беглецы обманули его, притворившись, будто желают скрыться от жестокого кредитора, грозящего им тюрьмой.

Пурпурная мантия всколыхнулась.

— Уж не думаете ли вы, сэра, что суд введут в заблуждение ваши бесстыдные увертки? — осведомился Джефрейс, и в голосе его вновь зазвучал металл. — А ну-ка, скажите, чем вы зарабатываете на жизнь?

— Я... Я пекарь, милорд, — пробормотал несчастный.

— Вы, насколько я понял, так сердобольны, что, надо полагать, весь испеченный хлеб отдаете почти даром. И вы, конечно, работаете даже по воскресеньям, не правда ли? (Намек на нарушение правил третьей заповеди Моисеевой в христианском толковании («День субботний — воскресенье»). (Примеч. пер.)

— Нет, что вы, милорд, никогда! — с жаром воскрикнул Данн, на этот раз вовремя почуяв ловушку в вопросе судьи.

— Уж очень вы щепетильны в религиозных вопросах, сэра, — язвительно заметил Джефрейс. — Правда, вы находите возможным оказывать по воскресеньям услуги изменникам, но это для вас, по-видимому, не труд, а отдых!

Тут председатель хватил через край. Вконец запуганный, Данн окончательно потерял голову и уже не мог сообразить, чего добиваются от него грозные судьи. Он отчаянно изворачивался, отрицал очевидные факты и под конец замолк, беспомощно озираясь по сторонам. Новые вопросы исторгали из него лишь невнятное бормотание. И судьям, и присяжным успели надоесть бессвязные выдумки хлебопека.

— Джентльмены, думаю, с этим мошенником все ясно. Сами видите, с кем приходится иметь дело. Такой родную мать продаст за полкроны, не то что короля. Турок, и тот может с большим основанием рассчитывать на вечное блаженство, чем подобный христианин.

И Джефрейс, отпустив напоследок в его адрес несколько замечаний личного характера (столь энергичных и выразительных, что секретарь не решился занести их в протокол суда), приказал пока увести свидетеля и пригласить следующего.

Следующим перед присяжными предстал Бартер. Он подробно поведал суду о своем посещении Мойлскорта, не забыв упомянуть, что обвиняемая, увидев его на кухне, стала о чем-то шептаться с Данном. Когда он рассказал о разговоре на обратном пути, судьи оживились. Слова о «деле, ради которого они с Данном приходили», выглядели достаточно удобной зацепкой: появилась надежда доказать осведомленность леди Лайл об истинных мотивах, заставивших ее гостей скрываться от посторонних глаз.

Пекаря вызвали вновь, и прокурор приложил все усилия, пытаясь вырвать у него признание или хотя бы видимость такового. Но и угрозы, и увещевания пропали даром — свидетель не желал оговаривать ни себя, ни обвиняемую. Более того, он по-прежнему не понимал, чего от него хотят, и Джефрейсу оставалось лишь обличать его беззастенчивое вранье, столь присущее изменникам и их пособникам, и призывать кару небесную на голову этого тупоумного негодяя.

— Жалкий лжец! Ты губишь свою драгоценную душу. Разве не об этом сказано в Писании? Все горы выдумок нагроможденные тобой, не укроют тебя от возмездия за лжесвидетельство.

— Я не знаю, про какие выдумки вы говорите, — лепетал Данн.

В бессильной ярости судья перешел на такую площадную брань, какую услышишь не во всяком притоне. Потом он снова резко сменил гнев на милость и вкрадчиво попытался



убедить Данна, что если тот ответит, на какое дело он намекал в разговоре с Бартером, то это будет лишь в интересах миледи.

— Она спросила, известно ли мне, что Хикс — протестант.

— Не может быть, чтобы это было все. О чем она еще говорила?

— Это все, милорд, — запротестовал Данн. — Я больше ничего не знаю!

— О Боже! Видели вы когда-нибудь подобного бесстыжего наглеца? — прорычал Джефрейс.

— Долго еще нам слушать твой вздор и терпеть издевательства?

Поняв, что толку от него не добиться, Данну, наконец, разрешили сесть, и к свидетельскому месту вышел полковник Пенраддок. Сегодня он чувствовал себя подлинным героем дня. Внятным голосом, положив руку на Библию, он поклялся говорить правду и только правду и приступил к показаниям. Не скупясь на подробности, полковник сообщил суду историю героического штурма Мойлскорта, ареста мятежников и их преступной покровительницы. Сердце Пенраддока пело — месть свершилась; он привел к подножию плахи человека из дома своих кровных врагов, и не беда, что жертва оказалась всего лишь беззащитной старухой.

Когда полковник, добавив вскользь, что ему известно, как в свое время леди Лайл едва ли не с восторгом одобряла действия своего мужа, закончил свой рассказ, лорд-председатель вновь принялся за Данна.

— Почему при появлении солдат вы сочли необходимым спрятаться за компанию с мятежником Хиксом?

— Меня испугал шум, милорд, — пробормотал несчастный пекарь, не смея поднять глаза.

— Ах, вот как, просто испугал шум. Испугал так сильно, что вы, не зная за собой никакой вины, кинулись в сарай и зарылись в груду мешков. Вы всегда так пугливы, мистер Данн? Или все объясняется тем самым таинственным «делом», о котором вы толковали с обвиняемой?

По знаку милорда служитель поднес горящую свечу к лицу свидетеля, чтобы от судей не укрылось ни малейшее движение его губ или глаз. Но даже это не сделало пекаря более понятливым и сговорчивым.

— Милорд, ваша честь, смилуйтесь надо мной! — завопил Данн. Не осмеливаясь отвернуться, он моргал и жмурился от яркого света. — Клянусь вам, не было никакого другого дела, кроме того, о котором я уже рассказал вашей светлости! Видит Бог, я не лгу, но у меня в голове все уже так перепуталось, что я иной раз сам не соображаю, что говорю!

— Для того, чтобы говорить правду, вовсе не нужно соображать, даже если вы на это способны, — резко произнес Джефрейс. — Впрочем, судя по вашим словам, ни вы, ни обвиняемая не отличаетесь рассудительностью, коль скоро она зазывает к себе в гости подозрительных незнакомцев, которых прячет вместе с вами, сэр, от слуг короля!

— Милорд! — воскликнула леди Алиса, задетая этим грубым выпадом. — Я надеюсь, меня не осудят, не выслушав!

— О нет, упаси Бог, миссис Лайл, — с подчеркнутой любезностью ответил председатель суда, и улыбка, не сулящая ничего хорошего, промелькнула на его породистом лице. — Подобные вещи практиковались лишь во времена вашего покойного мужа — вы хорошо знаете, что я имею в виду, — но, благодарение Господу, сейчас в Англии все по-другому.

После неохотно отвечавших Карпендера и его жены в четвертый раз вызвали Данна, но

очередная попытка вытянуть из бедняги признание в знакомстве Хикса с Алисой Лайл и ее осведомленности о его участии в мятеже окончилась так же, как и предыдущие. Несмотря на тупость, Данн был упорен. Сломить его так и не удалось.

Снова обругав его, Джефрейс объявил:

— Слово предоставляется обвиняемой. Суд слушает вас, миссис Лайл.

Старая дама поднялась со скамьи подсудимых. Она чувствовала себя очень усталой и одинокой, но сохраняла спокойствие и веру в справедливость своих соотечественников. Леди Алиса заговорила, обращаясь к председателю суда:

— Милорд, я должна заявить следующее. Я знала только о предстоящем приходе в Мойлскорт священнослужителя мистера Хикса, вынужденного скрываться ввиду известного указа о пресвитерианских проповедниках. Я никогда не слыхала имени мистера Нелторпа, не приглашала его к себе и была очень удивлена, узнав, что он находится в моем доме. Разумеется, я не подозревала и об участии мистера Хикса в вооруженном восстании — деле, несовместимом с его саном и долгом христианской любви к ближнему.

— Ну так я скажу вам, — вставил Джефрейс, — что среди этих лживых пресвитерианских святош нет ни единого, чьи руки не были бы запятнаны кровью!

— Милорд, я всей душой против бунтов и мятежей. Будь мы в Лондоне, мне не составило бы труда предоставить вашей чести любые требуемые на сей счет свидетельства. Я уверена, что леди Эбергэвенни, как и другие высокопоставленные особы, осчастливившие меня своей дружбой и расположением, охотно подтвердили бы мою неизменную верность королю. Я очень многим обязана дому Стюартов и никогда не нарушала долга благодарности и послушания. Это чистая правда, милорд, и всякий, кто скажет обо мне иное, солжет. Я не признаю себя виновной в измене и смею напомнить вам, милорд, что мистер Хикс, насколько мне известно, хотя и арестован, но еще не осужден. Возможно ли судебное преследование за укрывательство человека, чьи преступные действия только предстоит доказать, и о которых, повторяю, мне не было известно, когда я решила предоставить ему пищу и кров? Думаю, что закон и ваша совесть дадут на это одинаковый отрицательный ответ, милорд.

Лорд Джефрейс сидел, побелев от гнева, и вопрос его прозвучал хрипло и сдавленно:

— Вы закончили, леди Лайл?

— Мне осталось сказать немного, ваша честь — по поводу показаний полковника Пенраддока. Его намек на то, будто бы я одобряла казнь короля Чарлза I, — ложь! Настолько же ложь, насколько Бог — истина. В день этого ужасного события я не осушала глаз, и во всей Англии не найдется женщины, которая оплакивала бы несчастного государя горше, чем я. Что же касается моего поведения во время ареста преподобного Хикса и мистера Нелторпа; то признаюсь — я действительно отказалась что-либо сообщить полковнику о посторонних людях у меня в доме. Но солдаты, явившиеся в Мойлскорт, вели себя столь грубо и вызывающе, словно были ордой захватчиков и грабителей, а не слугами короля. Я отказалась от любого сотрудничества с ними и их командиром полковником Пенраддоком, но двигали мною лишь возмущение и страх, а вовсе не желание ставить правительству палки в колеса. И я вновь повторяю, милорд, — и это такая же правда, как то, что я надеюсь на спасение своей души, — я никогда не была знакома с мистером Нелторпом и до последнего момента даже не подозревала о его присутствии. Мне было известно, что мистер Хикс — приверженец протестантской церкви, и я на самом деле предоставила ему пищу и кров...

Леди Алиса умолкла, стараясь побороть волнение, собраться с мыслями, и судья поспешил воспользоваться паузой — обвиняемая держалась слишком уж достойно и уверенно.

— Можете ли вы сказать что-нибудь еще в свою защиту? — спокойно спросил Джефрейс. Он уже овладел собой и готовился к заключительной речи, главной части трагического фарса.

— Милорд, — снова начала обвиняемая, — я приехала в графство только за пять дней до этих ужасных событий... Джефрейс покачал головой:

— Суд не интересуется срок вашего прибытия. Похоже, вы приехали как раз вовремя, чтобы приютить мятежников.

Голос леди Лайл чуть дрогнул, но она продолжала, по-прежнему сохраняя самообладание:

— Я никогда не стала бы рисковать жизнью, кроме как ради дела, освященного волей короля. В этих принципах я воспитывала и своих детей. Мой сын сражался за короля, и у его величества нет более верного слуги, чем он.

— В самом деле, миссис Лайл? Вы в этом уверены? — насмешливо осведомился Джефрейс, желая испортить впечатление, которое могла оказать на присяжных речь подсудимой.

— Да, милорд, — с достоинством произнесла старая дама и возвратилась на свое место.

Наступал час Джефрейса. Он медленно встал — величественный и грозный, олицетворение королевского правосудия — так по крайней мере казалось присяжным. Эти простодушные, жизнерадостные сквайры, представители старинных и уважаемых в графстве фамилий землевладельцев, с молоком матери впитали истинно английское благоговение перед законом. Сейчас они с почтением и не без страха взирали на красную, отороченную горностаем мантию милорда, золотую цепь на его груди и властное лицо, обрамленное тяжелым париком.

Впрочем, первая часть заключительной речи напомнила скорее проповедь. Это было естественно для политического процесса в Англии XVII века, когда династические и партийные распри тесно переплетались и маскировались распрями религиозными. Обильные цитаты из Писания, поминутные упоминания Всевышнего, торжественный и благочестивый тон — все в речи Джефрейса делало ее более уместной под сводами кафедрального собора, чем в зале суда. Старая леди, измученная тревожностями последних недель, не выдержала — она задремала, подобно большинству своих соотечественников во время длинных и скучных казенных проповедей. Тут, видимо, даже присяжные, не отличавшиеся остротой ума, должны были понять, что этот сон свидетельствует об уверенности леди Лайл в собственной невинности.

А председатель все говорил и говорил. Его интонация постепенно менялась — пафос уступил место яростным обвинениям, проклятиям и угрозам в адрес пресвитерианской церкви. Благоприятное впечатление, произведенное на присяжных мужественной кротостью леди Лайл, не укрылось от наблюдательного Джефрейса, и он старался склонить их на свою сторону. Это было нелегкой задачей — добиться смертного приговора старой даме, не причинившей никому ни малейшего зла. К тому же улики, представленные суду, отнюдь не свидетельствовали о государственной измене или хотя бы о намерении таковую совершить, и лорд-председатель мог рассчитывать лишь на страх присяжных перед ним, перед королем, перед новым восстанием. Если удастся его посеять, то он заставит их забыть доводы разума и веления совести.

Алиса Лайл вздрогнула и проснулась — ее разбудил внезапный грохот. Лорд Джефрейс завершил свою гневную филиппику против мятежников и пресвитерианцев, треснув кулаком по судейскому столу. Он сумел довести себя до неподдельного бешенства, дышал с трудом, глаза его налились яростью. С изумлением и страхом смотрела леди Лайл на председателя суда, недоумевая, чем вызвано такое исступление.

Джефрейс перевел дух. Теперь почва была достаточно подготовлена, и следовало только направить мысли присяжных в нужную сторону.

— Джентльмены, напоминаю вам слова подсудимой. Она утверждает, будто пролила море слез, оплакивая гибель короля Чарлза I, осыпавшего своими милостями ее семью. Но в чем же выразилась признательность обвиняемой, ее верность памяти царственного мученика? В том, что она предоставляет убежище негодяям, дерзнувшим восстать против его преемника, ныне здравствующего короля Иакова!

Выдержав паузу, судья обвел взглядом притихший зал и выпустил последнюю отравленную стрелу:

— Разумеется, каждый должен отвечать лишь за свои собственные поступки. Поэтому я не буду напомирать вам о роли, сыгранной в преступном цареубийстве никем иным, как мужем обвиняемой. Я полагаю, джентльмены, вы и без моей помощи сумеете разобраться в искренности слов вдовы Джона Лайла. — Сделав опять многозначительную паузу, лорд-председатель обвел взглядом помрачневших присяжных и продолжал: — Вы слышали показания свидетелей. Правда, один из них выкручивался, как угорь, чтобы скрыть истину, но это только лишний раз подтверждает, что все обстоятельства дела изобличают подсудимую, вступившую в преступный сговор с мятежниками — врагами его величества. Этим людям, равно, как и их пособникам, нет и не может быть оправдания, и я надеюсь, что вы, джентльмены, вынося свое справедливое и беспристрастное решение, не позабудете о вашем долге перед королем и Англией.

Лорд Джефрейс опустил в кресло, полагая, что выразился достаточно ясно. Но, к его удивлению, сельские сквайры не проявили мгновенной готовности подчиниться воле властей. Первым признаком неповиновения стал вопрос старшины присяжных, мистера Уизлера. Повторяя слова подсудимой, он поинтересовался, допустимо ли считать преступлением укрывательство человека, который еще не предстал перед судом.

Джефрейс, нахмурившись, глянул на краснощекую физиономию мистера Уизлера. Не хватало еще, чтобы присяжные начали оспаривать законность процесса!

— Не понимаю ваших сомнений, сэр, — холодно произнес он, с трудом подавив желание грубо осадить вольнодумца. — Вина Хикса совершенно бесспорна, и, учитывая важность разбираемого дела, суд вправе пренебречь несущественными процедурными мелочами. А теперь, джентльмены, прошу вас приступить к совещанию.

Безапелляционный тон председателя подействовал, и присяжные, храня угрюмое молчание, потянулись в совещательную комнату. В зале воцарилась напряженная тишина.

Проходила минута за минутой, и лорд Джефрейс начал проявлять признаки нетерпения. Подозвав судебного пристава, он велел передать высокочтимому жюри предложение председателя суда объявить перерыв, с тем чтобы господа присяжные, коль скоро их затрудняет принятие решения по столь очевидному делу, смогли без помех обсудить все обстоятельства в течение предстоящей ночи. Через полчаса присяжные возвратились в зал; лица их были напряжены и серьезны.

— Милорд, ваша честь, — начал Уизлер, когда на нем остановился горящий нетерпеливым ожиданием взор судьи, — прежде, чем огласить наш вердикт, мы хотели бы рассеять некоторые возникшие у нас сомнения.

— Сомнения? Боже милостивый! — Лорд Джефрейс откинулся на спинку кресла. — Смею спросить, сэр, в чем же вы засомневались на этот раз?

Мистер Уизлер прокашлялся.

— Ваша честь, заключение о виновности миссис Лайл в государственной измене зависит, насколько мы поняли, от того, была ли она осведомлена о прошлом своих гостей. Мы не можем понять, достаточно ли весомы представленные улики для однозначного вывода. Показания главного свидетеля весьма запутанны и противоречивы, милорд, а дело, как вы сами изволили заметить, очень важное. Мы просим вашу честь высказаться по данному поводу.

Лорд-председатель помедлил секунду, разглядывая старшину. Этот красноречивый здоровяк своей неуместной дотошностью раздражал его, пожалуй, не меньше, чем Данн. Неужели ему да и остальным тупицам-присяжным, невдомек, что исход сегодняшнего спектакля предрешен с высоты трона, а вся судебная процедура — не более чем пышная бутафория для простофиль?

— Не знаю, чем помочь вам, сэр, — процедил Джефрейс.

Вместе с тем он понимал, что эти бестолковые сквайры, если их сейчас предоставить самим себе, вполне могут вынести обвиняемой оправдательный вердикт. Придется растолковать им все заново, чтобы разом покончить со всякими пустыми колебаниями. Снова заговорив, Джефрейс придал своему голосу максимум негодующего изумления:

— Джентльмены, я поражен вашей нерешительностью! Доказательства, представленные суду, неопровержимы настолько, насколько это вообще возможно для человеческого правосудия. По моему убеждению, никто не должен требовать большего. Или вы не слышали показаний свидетеля — этого презренного негодяя, пекаря Данна? Он признался, что в Мойлскорте велись разговоры о недавнем восстании и других мятежах. Признался, что обвиняемая спрашивала у него, поднимал ли Хикс оружие против короля, а потом задала этот же вопрос своим преступным гостям, которые сразу же ей во всем открылись, зная, что найдут сочувствие. Можно ли изобличить измену и сговор более явственно?! Однако мистер Уизлер не сдавался:

— Прошу прощения, милорд, но нам внушает некоторые сомнения именно последнее обстоятельство, о котором упомянули ваша честь, — признание, сделанное мятежниками по приходе в Мойлскорт. Мы полагаем...

— Вы, кажется, смеетесь над нами, сэр! — рявкнул Джефрейс.

Глаза его сузились — он снова пришел в ярость. Этот насквозь пропитанный элем мужлан позволяет себе слишком многое. Пускай травит лисиц в своем поместье, но не воображает, будто ему удастся сломить волю председателя королевского суда.

— Если все слова, произнесенные час тому назад, успели стереться из вашей памяти, то мне остается лишь выразить сожаление! При всем уважении к вам я не собираюсь заново проводить заседание. И раз уж вы столь забывчивы, то поверьте сейчас мне: в Мойлскорте был разговор о мятежах, был сговор между беглыми изменниками и их тайной покровительницей. Вина подсудимой доказана, и я предлагаю досточтимой коллегии присяжных, не тратя времени, завершить завещание и огласить вердикт. Дело совершенно ясное.

Мистер Уизлер густо побагровел, но лорд-председатель достиг поставленной цели — старшина и остальные члены жюри поняли роль, отведенную им на этом процессе.

Поняла свою участь и леди Алиса Лайл. Но даже теперь она все еще не могла поверить, что ничего нельзя изменить, и сделала последнюю попытку воззвать к справедливости. Голос ее дрожал, когда она обратилась к председателю суда:

— Милорд, я надеюсь...

— Замолчите, подсудимая! — прогремел лорд Джефрейс. — Вам было предоставлено слово, и суд выслушал вас. А сейчас сядьте на место!

Леди Лайл покорно опустилась на скамью, С этой минуты она молчала, лишь мысленно обращаясь к Богу, моля даровать ей сил для последнего страшного испытания.

Присяжные вернулись. Мистер Уизлер, не поднимая глаз, коротко объявил единогласное решение: Алиса Лайл виновна в государственной измене.

— Что ж, джентльмены, вы исполнили свой долг, — отеческим тоном произнес председатель. — Вам не в чем упрекнуть себя, разве только в излишней щепетильности. Будь я на месте любого из вас, то под тяжестью столь неоспоримых улик, не поколеблясь, признал бы виновной даже родную мать! — И с этими знаменательными словами лорд Джефрейс закрыл заседание.

Приговор был объявлен на другой день. Следуя букве закона, суд приговорил леди Алису Лайл, признанную виновной в государственной измене, к смертной казни через сожжение на костре.

Жестокая расправа, уготованная беззащитной старой женщине, всколыхнула страну. Никто не питал иллюзии насчет истинных мотивов процесса, но даже убежденные роялисты в большинстве своем находили, что убийство вдовы Джона Лайла, да еще организованное задним числом, через много лет после гражданской войны, едва ли прибавит славы дому Стюартов. Влиятельные друзья леди Лайл — среди них граф Эбергэвенни и победитель Седж мура лорд Фэвершэм — обратились к королю с просьбой помиловать осужденную; ходатайство об этом направил в Лондон епископ Винчестерский. Но Иаков II счел королевское милосердие слишком ценным товаром для столь незначительного случая, и единственное снисхождение, оказанное им несчастной старухе, заключалось в замене ковра на топор палача.

Второго сентября благородная кровь леди Лайл обогрела плаху на рыночной площади Винчестера. Кроткое мужество не изменило ей до последней минуты. За день до казни она написала письмо, в котором вновь заявляла о своей невинности и прощала всех судей и обвинителей, пославших ее на смерть.

Гибель Алисы Лайл — лишь одна из многих подобных трагедий, но она не скоро сгладилась в памяти современников, хотя сейчас почти забыта. И все же об этой истории следует помнить — хотя бы потому, что она показывает, как начатая однажды цепь насилия и жестокости (казнь Чарльза I) тянется сквозь годы и поколения, настигая все новые невинные жертвы.

## НОЧЬ РЕЗНИ. Праздник Святого Варфоломея

Пока существует наука, история, ученые, вероятно, не прекратят спорить о Варфоломеевской ночи. В этом событии до сих пор остается много загадочного, хотя сама загадочность отчасти порождается именно спорами историков, изучающих религиозные войны и принадлежащих к католической и антикатолической школам. Последователи первой исторической школы стремятся доказать, что Варфоломеевская ночь была чисто политической акцией, не имеющей ничего общего с преследованием еретиков; сторонники второй придерживаются прямо противоположной точки зрения, считая при этом, что имел место заранее и тщательно спланированный заговор. Они усматривают связь между этим событием и встречей Екатерины Медичи с герцогом Альбой семью годами раньше. Согласно мнению противников Ватикана, главу партии протестантов Генриха Наваррского заманили в Париж на

бракосочетание с Маргаритой Валуа лишь для того, чтобы уничтожить протестантскую знать королевства, съехавшуюся на свадьбу своего номинального вождя.

В нашем рассказе мы не собираемся сравнивать доводы представителей обеих исторических школ. Легко установить, что правда, как водится, лежит где-то посередине: преступление было политическим по замыслу и религиозным по исполнению; другими словами, государство умышленно использовало религиозный фанатизм, подогрев его в нужный момент. Грех было не воспользоваться подвернувшимся случаем.

Против утверждения о запланированности Варфоломеевской ночи говорит, во-первых, то, что невозможно было бы сохранить заговор Екатерины Медичи и герцога Альбы в тайне в течение семи лет, а во-вторых, то, что волна резни и истребления протестантов прокатилась по стране весьма беспорядочно. К этому можно добавить попытку убийства Колиньи за два часа до праздника святого Варфоломея. Покушение, отреагируй на него должным образом гугеноты, могло повлечь провал всего» плана, если бы таковой существовал.

Следует иметь в виду, что Франция долгие годы была разделена на два лагеря и находилась в состоянии гражданской войны, которую вели католики и протестанты. И те и другие боролись за безраздельную власть, и религиозные противоречия служили только поводом для этой войны. Почти непрерывная религиозная война опустошала и разоряла королевство. Главнокомандующий гугенотов был опытный солдат Гаспар де Шатильон, адмирал Колиньи. Фактически он являлся королем французов-протестантов и общался с Карлом IX как равный с равным. Он создавал армии и вооружал их на средства, полученные от протестантской церкви. Вторым некоронованным королем — королем католического государства в государстве — был герцог де Гиз. Наконец, самую незначительную, по-видимому, роль играла третья, и слабейшая, партия короля Карла IX.

Брат короля, герцог Анжуйский (впоследствии ставший Генрихом III), оставил нам записки с изложением событий, непосредственно предшествовавших Варфоломеевской ночи, составленные им в Кракове для своего секретного агента Мирона, когда герцог стал королем Польши. У нас нет оснований не доверять автору этих записок, поскольку ничто не указывает на какие-либо тайные цели, которые герцог мог преследовать в то время, когда их сочинял. Однако для уточнения подробностей и подтверждения некоторых фактов пришлось обратиться к мемуарам Сюлли — придворного из свиты короля Наваррского, и Люсиньяна — чудом оставшегося в живых дворянина из свиты адмирала. Этих-то трех источников мы и придерживались при воссоздании полной картины событий.

...Непринужденная болтовня дам и кавалеров, заполнивших длинную галерею в Лувре, вдруг стихла до шепота и сменилась полной тишиной. Толпа расступилась, пропуская короля, который вновь решил подразнить придворных своим появлением в обществе адмирала Колиньи.

Стройный, изящный герцог Анжуйский, в фиолетовом камзоле, украшенном золотым шитьем, перестав любоваться своими холеными руками, наклонился к красавице мадам де Немур, шепнул ей что-то на ухо, и оба враждебно посмотрели на адмирала.

Король медленно прошествовал вдоль галереи, опираясь на плечо главы гугенотов. Они представляли собой весьма живописную пару. Если бы Колиньи не сутулился, то был бы на целых полголовы выше короля. Суровая мощь старого вояки, исходившая от фигуры адмирала, шрамы и морщины, избородившие его лицо, придавали его облику мрачное достоинство, граничащее с высокомерием. Впечатление это усиливалось пересекавшим щеку и терявшимся в седой бороде лиловым рубцом, который (вместе с тремя выбитыми зубами) оставила ему на память о битве при Монконтуре вражеская пуля. Высокий лоб, пронизательные серые глаза и аскетический черный наряд являли собой противоположность глуповатой внешности короля, облаченного в легкомысленный камзол из желто-зеленого

атласа.

Вытянутый вперед подбородок, землистый цвет лица и бегающий взгляд Карла IX, уж конечно, не ослабляли того неприятного чувства, которое вызывали у людей его здоровенный мясистый нос и отвислая верхняя губа, придававшая ему придурковатый вид. Брюзгливый и грубый нрав двадцатичетырехлетнего государя в точности соответствовал его внешности, а речь изобиловала непристойностями и изощренным богохульством.

В конце галереи Колиньи остановился и облобызал монаршую длань. Карл похлопал его по плечу.

— Считайте меня своим другом, — сказал он. — Я весь — и сердцем, и душой — принадлежу вам. Прощайте, отец мой.

Колиньи удалился; король, горбясь и глядя в пол злыми глазами, вошел в противоположную дверь. Как только он скрылся из виду, герцог Анжуйский оставил мадам де Немур и поспешил вслед за ним. Болтовня придворных возобновилась с прежней оживленностью.

Король мерил шагами свой просторный кабинет, до отказа набитый предметами самого разнообразного назначения. Большое изображение девицы Марии соседствовало здесь с висевшей на стене аркебузой; по другую его сторону висел охотничий горн. Небольшая чаша для святой воды с засохшей веточкой полыни служила, видимо, хранилищем принадлежностей для соколиной охоты. Возле свинцового окна стоял ореховый письменный стол, покрытый затейливой резьбой и заваленный всевозможными книгами и манускриптами. Трактат об охоте валялся здесь бок о бок с часословом, а четки и собачий ошейник были брошены поверх рукописной копии стихов Ронсара. Король, надо заметить, и сам слагал вирши, правда, рифмоплетом был прескверным.

Карл оглянулся, и лицо его при виде вошедшего брата налилось желчью. Со злобным ворчанием он пнул ногой бурого пса, и гончая, взвизгнув, отлетела в угол.

— Ну? — заорал король. — Что еще? Могу я хоть минуту побыть один? Когда меня, наконец, оставят в покое? Что на этот раз, черт возьми? Чего тебе надо?

Водянисто-зеленые глаза Карла сверкали, а правая рука то стискивала, то опускала рукоятку кинжала на поясе.

Пораженный неожиданной свирепостью брата, молодой герцог стушевался.

— Ничего, ничего. Я найду в другой раз, если я вас потревожил. — Он поклонился и исчез, провожаемый зловещим хохотом.

Д'Анжу знал, что брат его не жалуется, и боялся Карла. Но тем яростнее было его негодование. Герцог направился напрямик в покои своей матери, чтобы пожаловаться ей на поведение короля. Генрих ходил у Екатерины в любимчиках и всегда мог рассчитывать на сочувствие.

— Все это дело рук мерзкого адмирала, — заявил он в конце длинной тирады. — Шарль всегда такой после общения с Колиньи.

Екатерина Медичи погрузилась в размышления.

— Шарль — это флюгер, — сказала она, подняв свои сонные глаза. — Любой подувший ветерок вертит им как угодно, и тебе давно следовало бы это знать. — Она зевнула, и каждому, кому не известна была ее манера постоянно зевать, могло показаться, что предмет разговора королеве абсолютно безразличен.

Они были одни в уютной, увешанной гобеленами комнатке, которую Екатерина называла



своей молельней. Полная, все еще красивая королева-мать возлежала на кушетке, обитой розовой парчой, а д'Анжу стоял у окна. Он снова разглядывал свои руки, которые старался пореже опускать вниз, чтобы кровь не прилиwała к ним и не портила их восхитительной белизны.

— Адмирал пытается ослабить наше влияние на Шарля, а сам влияет на него все сильнее, — возмущенно сказал Генрих.

— Можно подумать, я этого не знаю, — последовал сонный ответ.

— Пора положить этому конец, пока он не успел разделаться с нами! — напористо проговорил д'Анжу. — Ваше собственное влияние, мадам, тоже с каждым днем убывает, и адмирал, того и гляди, совсем охмурит вашего сына. Брат принимает его сторону против нас. О Боже! Видели бы вы, как он опирался на плечо этого старого хрыча, слышали бы, как он называл его «отец мой» и объявил себя его преданным другом. «Я ваш всем сердцем и душой...» — вот слова брата. А когда я потом вошел к Шарлю в кабинет — о, как он зарычал, как посмотрел на меня и схватился за кинжал! Мне показалось, что он сейчас вонзит его мне в горло. По-моему, совершенно очевидно, чем именно старый негодяй привлек его на свою сторону. — И Генрих повторил еще более яростно: — Пора, пора положить этому конец!

— Знаю, знаю, — бесстрастно пробормотала Екатерина, дождавшись, когда выплеснутся его эмоции. — И конец этому, безусловно, наступит. Старого убийцу следовало повесить еще много лет назад, ведь это он направил руку, стрелявшую в Франсуа де Гиза. Теперь он стал еще опаснее — и для Шарля, и для нас, и для Франции. Он хочет отправить свою гугенотскую армию во Францию, на помощь кальвинистам, и поссорить нас с Испанией. Хорошенькое дело, клянусь Богом! — Ее голос на минуту оживился. — Католическая Франция воюет с католической Испанией из-за гугенотской Фландрии! — Королева-мать усмехнулась, потом вяло, на свой обычный манер, продолжала: — Ты прав. Пора с этим покончить. Колиньи — это голова чудовища; если ее отрубить, то и все чудовище, возможно, испустит дух. Нужно бы посоветоваться с герцогом де Гизом. — Екатерина опять зевнула. — Да, герцог де Гиз даст нам совет и наверняка не откажется помочь. Решено: мы должны избавиться от адмирала.

Этот разговор произошел 18 августа 1572 года, и какими же энергией и целеустремленностью природа наделила эту толстую и медлительную даму, если в течение всего Двух дней были предприняты все необходимые меры, и наемный убийца Морвер уже ждал своего часа в доме Вилана в монастыре Сен-Жармен л'Оксеруа. Наняла убийцу мадам де Немур, которая тоже смертельно ненавидела адмирала.

Однако возможность исполнить дело, за которое ему платили, представилась Морверу только в следующую пятницу. Поздним утром, когда адмирал под охраной нескольких придворных возвращался из Лувра к себе домой на улицу Бетизи, из окна первого этажа дома Вилэна раздался выстрел. Пуля перебила два пальца правой руки адмирала и застряла в мякоти левого плеча.

Колиньи поднял свою покалеченную, окровавленную руку, указывая на окно, из которого раздался выстрел, и его люди побежали к дому, чтобы схватить убийцу. Но, когда они выломали дверь и ворвались внутрь, Морвер уже бежал черным ходом, возле которого наготове стояла лошадь, и, несмотря на погоню, так и не был схвачен.

О происшествии немедленно донесли королю, игравшему в это время в теннис с герцогом де Гизом и приемным сыном адмирала, Телиньи. Присланный с известием от Колиньи развязный молодой дворянин снял шляпу, поклонился и сказал:

— Сир, адмирал просил передать, что после этого покушения он познал настоящую цену соглашению с монсеньором де Гизом, которое он заключил с ним после Сен-Жерменского перемирия. Адмирал предлагает, чтобы и ваше величество тоже сопоставили два этих

события и сделали свои выводы.

Герцог де Гиз застыл на месте от подобной наглости, но не проронил ни слова. Король побагровел, посмотрел на герцога гневным взглядом и, не сдержав бешенства, разбил ракетку о каменную стену.

— Дьявол! — закричал он. — Дадут мне когда-нибудь спокойно пожить? — Он отшвырнул обломки ракетки и ушел, сыпля проклятиями.

Позже, допросив гонца еще раз, он выяснил, что выстрел прозвучал из дома Вилэна, бывшего опекуна герцога де Гиза, а лошадь, на которой ускакал убийца, была из герцогских конюшен.

Тем временем герцог и господин де Телиньи, не обменявшись поклонами, разошлись в разные стороны, после чего Гиз заперся в гостинице с друзьями, а Телиньи отправился к своему названному отцу.

В два часа пополудни, уступив настоятельной просьбе адмирала, король навестил раненого вместе с королевой-матерью, двумя своими братьями, д'Анжу и д'Алансоном, несколькими офицерами и придворными. Королевская процессия проследовала по улицам, которые немного побурлили после утренних событий, но ко времени выезда кавалькады из Лувра уже утихли. Король был мрачен и молчалив, отказывался обсуждать случившееся с кем бы то ни было и не предоставил аудиенции даже своей матери. Екатерина и д'Анжу, раздраженные провалом своего плана, возмущенно поджимали губы.

Адмирал ждал их, сосредоточенно задумавшись. Придворный врач Парэ ампутировал ему оба раздробленных пальца и обработал рану на плече. Хотя можно было считать, что Колиньи легко отделался и был уже вне опасности, пронесся слух, что в него стреляли отравленной пулей, и ни сам адмирал, ни его люди не опровергали этого слуха. Они, разумеется, предполагали извлечь из него дополнительную выгоду и приобрести еще большее влияние на короля. Неважно, останется Колиньи жив или умрет, но король, несомненно, придет в большее негодование, если будет думать, что рана угрожает жизни адмирала.

С матерью и братьями Карл промчался мимо угрюмых гугенотов, заполнивших просторный вестибюль, и ворвался в покои адмирала, где тот полулежал на диване возле окна. Колиньи попытался подняться, но король поспешил вперед и не позволил ему этого сделать.

— Лежите, мой дорогой отец! — воскликнул Карл, всем своим видом выражая глубокую озабоченность. — Боже, что они с вами сделали? Успокойте меня по крайней мере тем, что ваша жизнь в безопасности, или, клянусь, я...

— Моя жизнь принадлежит Господу, — отвечал адмирал напыщенно, — и когда Он ее потребует, я откажусь от нее — только и всего.

— Только и всего? Черт возьми, только и всего! Ранены вы, но оскорблен я! Кровью своей клянусь вам, кое-кто поплатится за это. Они надолго запомнят!

— И король разразился столь кощунственными проклятиями, что набожный, искренне богобоязненный еретик содрогнулся от его слов.

— Успокойтесь, государь, прошу вас! — наконец вмешался он, положив свою ладонь на бархатный рукав королевского камзола. — Успокойтесь и выслушайте меня. Я просил вас прийти сюда не ради себя, не для того, чтобы требовать наказания виновных за эти нанесенные мне раны, а потому, что это покушение

— не что иное, как попытка подорвать вашу власть и ваш авторитет. Зло во Франции накапливает силы. — Колиньи умолк и мельком взглянул на Екатерину, Генриха и Франсуа. — Однако то, что мне необходимо сказать, предназначается лично вам, сир.

Карл резко обернулся к своим спутникам и словно пронзил взглядом мать и братьев. Но долго смотреть кому-то прямо в глаза было выше его сил.

— Прочь! — скомандовал он, махнув рукой и чуть не задев при этом их носы. — Вы слышали? Оставьте меня наедине с моим отцом-адмиралом.

Молодые герцоги, помня о приступах необузданной ярости, которые охватывали брата при любой попытке противиться его слабой воле, поспешно удалились. Но медлительная Екатерина не торопилась.

— Настолько ли здоров мсье де Колиньи, чтобы обсуждать сейчас какие-либо важные дела? Примите во внимание его состояние, ваше величество, — бесцветным тоном заметила она.

— Благодарю вас за трогательную заботу, мадам, — не без иронии в голосе ответил адмирал, — но, слава Богу, я еще достаточно крепок! И даже если бы я был менее здоров, чем сейчас, для меня было бы гораздо более тяжким бременем сознавать, что я не исполнил свой долг по отношению к его величеству.

— Ну? Слышали? — скривился король. — Идите же, ступайте.

Екатерина покинула комнату вслед за младшими сыновьями, дожидавшимися ее в вестибюле. Все трое собрались у одного окна, выходящего на раскаленный, залитый солнечным светом двор. Как потом рассказывал сам д'Анжу, они очутились в окружении двух десятков мрачных придворных и офицеров свиты адмирала, которые поглядывали на них с нескрываемой враждебностью. Они хранили молчание, прерываемое лишь отрывистыми фразами вполголоса, и расхаживали взад и вперед перед августейшими особами, не заботясь о соблюдении должного этикета и почтительного расстояния.

Королеве и ее сыновьям, изолированным в этом недружелюбном окружении, становилось все более не по себе, и, по признанию самой Екатерины, ее нигде и никогда раньше не охватывал больший страх за свою жизнь; когда же они покинули негостеприимный дом, она испытала огромное облегчение.

Этот страх побудил ее все-таки снова вмешаться и заставить Карла прекратить секретное совещание в соседней комнате. Она проделала это в присущей ей манере: с максимально возможным самообладанием Екатерина неспешно направилась к двери, слегка стукнула и вошла, не дожидаясь приглашения.

Король, стоявший подле адмирала, быстро обернулся на стук. Его глаза яростно сверкнули, чуть только он увидел свою мать, но она его опередила: — Сын мой, — сказала она, — я тревожусь за бедного адмирала. Если вы позволите ему переутомляться, у него начнется лихорадка. Как его друг, вы не должны продолжать сейчас этот разговор. Повремените с делами, пока адмирал не поправится — а это произойдет скорее, если вы дадите ему отдохнуть.

Колиньи насмешливо поглаживал свою седую бороду, король же воскликнул: — Черт побери, матушка! Какая неожиданная и трогательная забота!

— В ней нет ничего неожиданного, сын мой, — ответила королева нудно-рассудительным тоном и уставилась на Карла своими тусклыми глазами, которые имели над ним какую-то колдовскую власть, парализуя волю. — Кому, как не мне, знать, сколь много значат для Франции здоровье и жизнь адмирала.

Д'Анжу у нее за спиной ухмыльнулся двусмысленности этой фразы.

— К чертям собачьим! Король я или нет?

— Вот и будьте королем, не злоупотребляйте здоровьем своего несчастного подданного. — И королева повторила, по-прежнему гипнотизируя его взглядом: — Пойдемте, Шарль. В следующий раз, когда адмирал восстановит свои силы, вы продолжите ваш разговор. А теперь— пойдемте.

Монарший гнев сменился почти детской обидой. Карл попытался выдержать материнский взгляд и был окончательно сломлен.

— Наверное, моя мать права... Отложим пока это дело, отец. Поговорим о нем сразу же, как только вы встанете на ноги.

Он подошел к дивану и, прощаясь, протянул руку. Колиньи принял ее и задумчиво посмотрел в молодое, но безвольное лицо короля.

— Я благодарен вам, сир, за то, что вы пришли и выслушали меня. Надеюсь, в другой раз мне удастся сказать вам больше. А тем временем, государь, хорошенько поразмыслите над тем, о чем я успел вам рассказать. Я забочусь исключительно о вашем благе, сир. — И он поцеловал его руку.

Королева сдерживалась до самого возвращения в Лувр и только там попыталась пробиться сквозь отрешенную задумчивость Карла, чтобы узнать — а ей непременно нужно было разузнать все, о чем шла речь во время конфиденциальной беседы сына с адмиралом. Сопровождаемая д'Анжу, Екатерина толкнула дверь королевского кабинета. Карл сидел за письменным столом, подперев сложенными ладонями свой торчащий вперед подбородок. Едва завидев вошедших, он издал какой-то рык и грубо поинтересовался, зачем они опять пожаловали.

Екатерина с величественным спокойствием подошла к стулу и уселась. Генрих, подбоченясь, остался стоять чуть позади нее.

— Сын мой, я пришла узнать, о чем вы говорили с Колиньи, — без обиняков заявила королева.

— А какое вам до этого дело?

— Все ваши дела касаются и меня, — спокойно возразила она. — Ведь я — ваша мать.

— А я — ваш король! — закричал Карл, треснув кулаком по столу. — И собираюсь им оставаться.

— Милостью Божьей и благосклонностью мсье де Колиньи, — усмехнулась Екатерина.

— Что вы хотите этим сказать? — Король уставился на нее с приоткрытым ртом, и шея его начала багроветь. — Как вы смеете?!

Бесстрастный взгляд матери осадил его прыть, и она повторила свои презрительные слова.

— Поэтому я и пришла к вам, — добавила она. — Если вы не способны править страной без посторонней опеки, я по меньшей мере должна сделать все от меня зависящее, чтобы вашим опекуном не стал бунтовщик, который стремится подчинить вас своей воле.

— Подчинить? Меня? — вскричал король, подпрыгнув от возмущения. Он посмотрел на мать, но, будучи не в состоянии выдержать ее холодного взгляда, снова отвел глаза. Карл грязно

выругался и с отвращением произнес:

— Скажите уж, что он хочет править вместо меня!

— Да, и править. Он будет помыкать вами до тех пор, пока не исчезнут последние остатки вашего авторитета, и тогда вы окончательно станете лишь игрушкой в руках гугенотов, королем-марионеткой.

— Клянусь Богом, мадам, если бы вы не были моей матерью...

— Именно потому, что я ваша мать, я и пытаюсь спасти вас.

Карл опять обратил на нее взгляд и опять дрогнул. Он нервно прошел по комнате туда и обратно, бормоча что-то себе под нос, затем, поставив ногу на prie-Dieu (Скамеечка для молитв (фр.)), повернулся к королеве.

— Бога ради, мадам, раз вы так настаиваете, я повторю все, что сказал мне адмирал. Вы доказали мне, что все им сказанное есть чистейшая правда. Он утверждал, что с королем во Франции считаются лишь до тех пор, пока он обладает настоящей силой и, следовательно, властью или хотя бы радеет о своих подданных; что моя власть вкупе с управлением всеми государственными делами, благодаря искусному плану, который осуществляете вы с герцогом Анжуйским, ускользает из моих рук в ваши собственные; что эта власть, которую вы у меня крадете, в один прекрасный день может быть использована вами против меня и моего королевства. Он предостерегал меня и советовал быть настороже, следить за вами обоими и принять меры предосторожности. Он дал мне этот совет, мадам, считая это своим долгом, ибо он — один из моих наиболее преданных друзей и верных подданных. Находясь на пороге смерти...

— Бесстыдный лицемер! — прервал его флегматичный, но презрительный голос Екатерины.  
— На пороге смерти! Два пальца и легкое ранение в плечо, а он изображает из себя умирающего. А все для того, чтобы заставить вас поверить его поклепу!

В ее словах присутствовала логика, надменная же бестрастность матери действовала на короля сильнее самой логики. Большие водянистые глаза Карла расширились.

— А если... — начал он, запнулся и чертыхнулся. — Так значит он лжет, мадам?

— неуверенно спросил он.

Екатерина уловила в его вопросе нотку надежды — надежды, отвечавшей тщеславному желанию быть настоящим королем, а не просто носить этот титул. Королева обиженно выпрямилась.

— Вы мне не верите? Мне, своей матери? Вы меня просто оскорбляете! Пойдем, Анжу. — И с этими словами она гордо удалилась, понимая, однако, что ее слова заронили зерно сомнения в душу Карла. На большее она пока и не рассчитывала.

Однако, уединившись с д'Анжу в своей молельне, королева не сумела сохранить обычное показное безразличие ко всему на свете. На этот раз она вся дрожала, покраснев от негодования, и громко поносила Колиньи и гугенотов, сверкая далеко не сонными глазами.

Но сейчас ничего уже нельзя было изменить. Первый удар не достиг цели: адмирал выжил. Возникла опасность, что неудачное покушение рикошетом ударит по тем, кто его подготовил. Впрочем, на следующий день, в субботу, дела неожиданно приняли совершенно иной оборот.

Великий предводитель католиков, могущественный герцог де Гиз, которого больше кого-либо

другого подозревали в организации покушения, покинул свой дворец, занялся сбором новостей о происходящем в городе и потом пришел с ними к королеве-матери. Вооруженные отряды гугенотов разъезжали верхом по парижским улицам, выкрикивая угрозы и проклятья:

— Смерть наемным убийцам! Долой гизаров! И хотя в Париж для поддержания порядка был срочно вызван полк французской гвардии, герцог ожидал серьезных неприятностей. Город переполнила гугенотская знать, собравшаяся на торжества по случаю королевской свадьбы. Поползли слухи, что протестанты повсюду вооружаются. Правдивы они были или ложны, но при сложившихся обстоятельствах очень походили на правду. Парижу угрожала смута.

Оставив Гиза в своей молельне и взяв с собой любимчика Анжу, Екатерина разыскала короля. Возможно, она поверила слухам, возможно даже и то, что в ее изложении они выглядели как несомненные факты, но, во всяком случае, пересказав их Карлу, она резко укрепила свои позиции.

— Король Гаспар I, — говорила она королю, — уже принимает меры. Еретики вооружаются, офицеры-гугеноты направлены в провинцию набирать войска. Адмирал приказал нанять десять тысяч рейтар в Германии и десять тысяч швейцарцев в кантонах.

Карл уставился на мать бессмысленным взглядом. Некоторые из этих слухов уже достигли его ушей, и он воспринял ее слова как лишнее их подтверждение.

— Теперь ты видишь, кто твои подлинные друзья и верные слуги! — заключила Екатерина. — Как случилось, что в вашем собственном государстве у вас оказалось столько противников? Католики так ослаблены и разорены после гражданской войны, в которой их король мало с ними считался, что перестали на вас полагаться и тоже собираются вооружаться и самостоятельно дать отпор врагам. Таким образом, в вашем королевстве две вооруженные партии, и ни одну из них нельзя назвать лояльной. Если вы не пошевелитесь и не сделаете немедленный выбор между своими друзьями и своими врагами, то останетесь в изоляции. Вам угрожает серьезная опасность стать королем без подданных.

Ошеломленный, Карл опустился в кресло и задумался, сжав голову руками. Он взглянул на мать — в глазах его метался страх затравленного зверя. Он перевел взгляд на брата.

— Что же делать? — спросил Карл. — Что?! Как предотвратить опасность?

— Очень просто: одним молниеносным ударом, — спокойно отвечала Екатерина. — Одним быстрым и точным ударом отсечь голову чудовищу мятежа, этой гидре ереси.

Карл с ужасом отпрянул; его пальцы, вцепившиеся в резные ручки кресла, казались высеченными из белого мрамора.

— Вы предлагаете убить адмирала? — хрипло прошептал король.

— Не только адмирала, но и всех гугенотских главарей, — ответила Екатерина таким тоном, словно речь шла о десятке-другом каплунов, предназначенных на вертел.

— Ах, вот как! Par la Mort Dieu! (Сильное французское богохульство, дословно: «Чтоб помер Бог!») Обычно передается простым «Черт возьми!» (Примеч. пер.)

— Король вскочил в ярости. — Вы жаждете крови! Вы его ненавидите, и потому...

Она холодно перебила его:

— Не я! Не я! Крови жаждут еретики. Я не собираюсь давать вам никакого конкретного совета, кроме единственного: соберите свой Совет. Пошлите за Таванном, за Бираком, Ретцем и всеми остальными и посоветуйтесь с ними. Они

— ваши друзья, и вы им доверяете. Посмотрим, насколько их мнение разойдется с моим, когда они ознакомятся с фактами. Пошлите за ними, все они сейчас в Лувре.

Карл, глядя на нее, задумался на минуту и сказал:

— Ладно, будь по-вашему, — и открыл дверь, громко выкрикивая распоряжения.

Один за другим появились маршал де Таванн, герцог де Ретц, герцог Невер, канцлер Бирак и последним — герцог де Гиз, к которому король продолжал испытывать ревнивую ненависть из-за его популярности.

Стоял жаркий августовский день. Окно, выходящее на набережную Сены, открыли для доступа свежего воздуха.

Карл восседал за своим письменным столом в дурном расположении духа. Он перебирал пальцами нитку четок. Екатерина заняла стул сбоку от его стола, д'Анжу уселся рядышком на табурет. Остальные почтительно стояли, ожидая, когда король объявит о причине их срочного вызова. Бегающий королевский взгляд блуждал от одного к другому, потом скользнул по полу и почти вызывающе остановился на матери.

— Скажи им, — грубо приказал он ей. Екатерина повторила то, о чем уже говорила сыну, только более подробно и обстоятельно. Некоторое время в комнате был слышен лишь ее монотонный голос. Закончив, она зевнула и приготовилась выслушать возражения.

— Ну? — резко прервал паузу король. — Вы слышали? Что вы предлагаете? Говорите!

Первым — медленно, но твердо — ответил Бирак:

— Я согласен с ее величеством. Другого пути нет. Опасность велика, и чтобы ее предотвратить, надо действовать быстро и наверняка.

Таванн заложил руки за спину и сказал приблизительно то же самое, что и канцлер.

Перебирая четки своими длинными пальцами и отведя глаза в сторону, король дал высказаться всем по очереди. Оставались маршал де Ретц и герцог де Гиз. Карл поднял глаза и, умышленно избегая смотреть на Гиза, уставился на маршала, который держался несколько в стороне.

— А вы, месье маршал? Каков будет ваш совет? Ретц расправил плечи и набычился, словно готовился к отражению вражеской атаки. Он был слегка бледен, но вполне владел собой.

— На свете существует только один человек, которого я ненавижу всем своим существом, и этим человеком является Гаспар де Колиньи, который распространял против меня и моей семьи облыжные обвинения и грязную клевету. Но я не хочу, — добавил он твердо, — мстить своим врагам ценой поражения моего короля и повелителя. Я не могу согласиться с этой гибельной для вашего величества и для всего королевства затеей. Если мы предпримем то, что нам здесь посоветовали, сир, то, я уверен, нас осудят во всем мире

— и справедливо осудят — за предательство и вероломство. Помните о подписанном нами договоре!

После слов герцога де Ретца наступила мертвая тишина. Оппозиция возникла там, где ее меньше всего ожидали. Екатерина и д'Анжу рассчитывали на ненависть маршала к Колиньи и были уверены, что он поддержит их замысел.

Бледные щеки короля покрыл едва заметный румянец, его глаза заблестели. Казалось, он неожиданно обрел надежду в море отчаяния.

— Его устами глаголет истина! — воскликнул Карл. — Месье и вы, мадам, вы услышали правду. Как она вам нравится?

— Господин де Ретц от избытка благородства невольно вводит нас в заблуждение, — быстро ответил Анжу. — Поскольку он питает к адмиралу личную неприязнь, то полагает, что уронит свою честь, если выскажется иначе. И он не хочет, как сам сказал, использовать короля в качестве орудия мести за свои обиды. Полагаю, мы можем отнестись с уважением к позиции господина де Ретца, хотя и считаем ее ошибочной.

— Может быть, месье де Ретц предложит нам какой-нибудь другой, лучший путь выхода из создавшегося положения? — скрипучим голосом произнес Таванн.

— Он есть, он должен быть найден! — закричал король, вскакивая. — Другой путь должен быть найден, вы слышите? Я не позволю вам посягнуть на жизнь моего друга адмирала. Клянусь небом, не позволю!

Все зашумели и заговорили одновременно, но король хлопнул ладонью по столу и напомнил, что его кабинет не базар.

— А я повторяю, что другого пути нет, — настаивала Екатерина. — Во Франции не может быть двух королей, как не может быть двух партий. Король должен быть один, и этот король — вы. Прошу вас понять это ради безопасности королевства и вашей собственной.

— Во Франции два короля? — спросил Карл. — Какие два короля?

— Вы и Гаспар I Колиньи, король гугенотов.

— Он мой подданный, мой преданный и верный подданный, — вяло и не очень уверенно протестовал король.

— Подданный, который собирает свою собственную армию, взимает налоги и оставляет в городах гугенотские гарнизоны, — сказал Бирак. — Весьма опасный подданный, сир.

— Подданный, который заставляет вас воевать на стороне протестантской Фландрии против католической Испании, — неосторожно добавил туповатый Таванн.

— Заставляет? Меня? — разъярился король. — Не слишком ли дерзкие слова?

— Они были бы дерзкими, если бы не доказательства. Вспомните, сир, его собственные слова перед тем, как вы разрешили ему начать военные приготовления. «Позвольте нам воевать во Фландрии, иначе мы будем вынуждены воевать в своей стране».

Карл вздрогнул и побледнел. Таванн задел его самое больное место. Это высказывание Колиньи король хотел забыть как можно скорее. Он натянул четки так сильно, что шнурок, на который они были нанизаны, глубоко врезался в его пальцы.

— Сир, — продолжал Таванн, — если бы я был королем и мой подданный обратился ко мне, как я к вам, его голова через час слетела бы на плахе. Но дела обстоят настолько плохо, что я решил сказать вам правду, чего бы мне это ни стоило. Гугеноты вооружаются, они нагло разъезжают по улицам вашей столицы, призывая к бунту. Их и сейчас здесь уже полно, но становится все больше, и опасность нарастает.

Лицо Карла исказилось. Он вытер пот со лба трясущейся рукой.

— Я и сам вижу эту опасность. Я допускаю, что она велика. Но Колиньи?..

— Сейчас речь идет о том, кто будет королем Франции — Карл или Гаспар! — раздался



надтреснутый голос Екатерины.

Шнур неожиданно порвался в руках бледного короля, и четки разлетелись во все стороны.

— Ваша взяла! — закричал он. — Если так необходимо убить адмирала, убейте его, убейте! — В бешенстве он визжал, брызжа слюной и потрясая кулаками перед теми, кто вынудил его на этот шаг. — Убейте его! Но тогда уж убейте каждого гугенота во Франции, чтобы никто не остался в живых и не смог мне отомстить. Всех до единого, слышите? Примите меры, и пусть это будет исполнено немедленно. — И Карл с перекошенным лицом и трясущимися губами вылетел из кабинета.

Итак, необходимые полномочия были получены, и тут же, в кабинете короля, началась разработка плана действий. Де Гиз, до сих пор лишь молчаливо наблюдавший за происходящим, теперь вышел из тени и принял самое активное участие в обсуждении, пообещав организовать собственно убийство адмирала.

Остаток дня и часть вечера заговорщики провели, обговаривая детали плана. В деле решено было использовать офицеров военной полиции города Парижа и офицеров французской гвардии, подстраховавшись тремя тысячами швейцарских гвардейцев, командирами надежных казарм и всеми, кому можно было доверять. Уже к десяти часам вечера приготовления были закончены. Сигналом к началу избиения должен был стать звон колоколов Сен-Жермен л'Оксеруа, сзывающих к заутрене.

Один из домочадцев адмирала, возвращаясь ночью домой, встретил группу людей, несущих на плечах связку пик, но сначала не обратил на это внимания. Потом он миновал несколько негромко переговаривающихся солдат с мушкетами и горящими факелами, однако все еще ничего не заподозрил. Наконец, пройдя еще один квартал, он остановился, чтобы понаблюдать за человеком, поведение которого показалось ему странным: тот с помощью мела метил двери некоторых домов белым крестом.

Встретив затем другого человека, тащившего связку оружия, заинтригованный гугенот грубо спросил его, куда и зачем он направляется со своей ношей.

— В Лувр, мсье. Сегодня ночью там будет представление, — последовал ответ.

В Лувре королева-мать и католические лидеры, покончив с составлением плана, пытались чуток отдохнуть, но им это плохо удавалось. В третьем часу утра Екатерина и д'Анжу вернулись в королевский кабинет. Карл был на месте; его знобило, словно в лихорадке.

Часть вечера он провел в биллиардной, где сыграл партию с Ларошфуко, которого любил и который весело распрощался с ним в одиннадцать, не предполагая, что прощается навсегда.

Все трое подошли к окну, выходящему на реку, и, открыв его, начали настороженно всматриваться в темноту. Воздух был свеж и прохладен, дул легкий предрассветный ветерок, и небо на востоке чуть посветлело. Внезапно где-то неподалеку раздался одинокий выстрел, заставивший короля вздрогнуть. Карл задрожал всем телом, его зубы громко застучали.

— Дьявол! Этого будет! Не будет! — вдруг закричал он истерично.

Карл посмотрел на мать и брата безумным взглядом, но они подавленно промолчали; даже в темноте бледность всех троих была заметна; ужас стыл в их расширенных зрачках.

Король опять закричал: он отменяет все свои последние распоряжения! Екатерина и Генрих не пытались возражать, и король вызвал офицера, велел ему немедленно разыскать герцога де Гиза и передать приказ.

Не застав герцога во дворце Гизов, офицер быстро смекнул, где его искать, и побежал к дому

адмирала. Герцог стоял посреди освещенного факелами двора над лежащим у его ног мертвецом, только что выброшенным из окна спальни. В ответ на слова офицера де Гиз рассмеялся, пошевелил носком сапога голову мертвеца и ответил, что распоряжение несколько запоздало. В тот же миг раздался первый удар большого колокола Сен-Жермен л'Оксеруа, зазвонившего к заутрене.

В ту же минуту его услышала и королевская семья, собравшаяся у окна в Лувре, и тут же началась пальба из аркебуз и пистолетов, а издали донеслись нарастающие кровожадные крики и истошный визг. Зазвонили колокола других монастырей, и вскоре все колокольни Парижа охватил тревожный набат. Красноватое пламя тысячи факелов зловещим багряным светом озарило облака. Над Сеной потянуло пороховой гарью, в воздухе запахло смолой и копотью. Вопли и стенания жертв, бормотание умирающих сменялись улюлюканьем свирепеющей толпы.

Король, вцепившись в подоконник, сквозь стиснутые зубы исторгал проклятия и богохульства. Потом шум и крики приблизились и зазвучали где-то совсем недалеко. Жить по соседству с Лувром считалось среди гугенотов престижным, и теперь сюда стекались опьяненные кровью и грабежами солдаты и горожане. Вскоре уже набережная перед окнами королевского дворца представляла собой сцену жуткого побоища.

Убийцы гонялись за полуодетыми мужчинами, женщинами и детьми. Повсюду поперек улиц были натянуты цепи, и затравленные гугеноты, наткнувшись на них в темноте, оказывались в западне. Некоторые из протестантов, надеясь найти путь к спасению, бежали к реке, но сатанински предусмотрительные католики переправили все лодки, обычно причаленные у набережной, на другой берег. Несколько сотен гугенотов были зарезаны перед самым дворцом на глазах у короля, который позволил разгуляться всему этому кошмару.

Хлопали двери, к небесам взмывали языки пламени, из окон домов выбрасывали на мостовые тела жертв, и прямо под стенами Лувра шла форменная охота на людей. По свидетельству д'Обинье, со всех сторон в Сену текли потоки крови.

Некоторое время король наблюдал за этими зверствами, и то, что бормотали его искусанные бескровные губы, тонуло в невообразимом шуме побоища. Внезапно Карл обернулся — возможно, для того, чтобы накинуться на мать и брата, но их в кабинете уже не было. Позади него остался один только паж, который, сжавшись от страха, наблюдал за своим повелителем.

Неожиданно король захохотал зловещим, истеричным хохотом безумца. Его взгляд упал на аркебузу, висевшую рядом с изображением Мадонны. Он сорвал оружие со стены, схватил мальчишку за воротник камзола и подтащил к окну.

— Стой здесь и заряжай! — приказал он пажу, продолжая раздражаться приступами дикого хохота.

Используя вместо упора подоконник, Карл прицелился и разрядил аркебузу в группу спасающихся бегством гугенотов.

— Parpaillots! Parpaillots! (Гугеноты! (вариант: «Безбожники!»)(фр.) — завопил он. — Убивай! Убивай!

...Через пять дней король, который к этому времени уже сумел переложить бремя ответственности за все происшедшее, включая убийство около двух тысяч протестантов, на герцога де Гиза и его лютую ненависть к Колиньи, поехал верхом в Монфокон посмотреть на обезглавленное тело адмирала. Мертвый гугенот был подвешен цепями к виселице. Некий угодливый придворный предупредил короля:

— Не подъезжайте слишком близко, ваше величество. Адмирал, кажется, сегодня не надушился и распространяет зловоние.

Водянисто-зеленые глаза Карла превратились в узкие щели, губы скривились в жестоком подобии усмешки.

— Труп убитого врага всегда хорошо пахнет, — ответил он.

## НОЧЬ КОЛДОВСТВА. Людовик XIV и мадам де Монтеспан

Попробуйте снять наслоения позолоты и блестящей лести современников, которые обычно покрывают личность монарха, и вы обнаружите под ними королей иногда глупых, иногда просто неважных, а порою и смешных. Редко появляется на свете правитель воистину великий: те же, кто носит это прозвище, зачастую заслужили его потому, что мудро довольствовались маской образованных — в понимании соответствующей эпохи — интеллектуалов, не претендуя на роль пророка. Однако ни в одной галерее Истории невозможно отыскать фигуру более абсурдную, чем «великолепный Король-Солнце, Великий Монарх Луи XIV Французский».

Трудно припомнить хотя бы единственный случаи когда бы его высмеяли, — и по крайней мере ни разу, когда он того заслуживал. Льстецы и подхалимы его эпохи достигли такого совершенства, что даже по секрету, а возможно, и в мыслях своих, не осмеливались говорить правду о короле. Усердие их не пропало втуне — ложь пережила и своих авторов, и их тщеславного повелителя. Многократно произнесенное слово превращается в бессмысленный набор звуков; и напротив, настойчиво повторяемая нелепица кажется уже правдоподобной.

Стоит только отмести нагромождения эпитетов и славословий, обратиться к действительным фактам, как тот час станет очевидным грандиозное надувательство придворных летописцев. Впрочем, славословие тоже говорило многом. Взять хотя бы самый пышный титул Людовика XIV — Le Roi Soleil, Король-Солнце — его применяли как будто без дураков, да только дураку не видно, что король-то — голый. Не так ли выставляли себя напоказ голые придворные шуты минувших веков, горделивыми ужимками подражавшие правителям, с той лишь разницей, что герой нашего рассказа делал это не ради забавы. Свидетельствуя о скудости интеллекта Людовика, эта нешуточная буффонада была еще и симптомом мании величия — как ни странно звучит подобное утверждение в отношении короля.

Людовика преследовала навязчивая идея обожествленной сущности монарха. Трудно поверить, что он считал себя человеком, ибо стремился внушить всему миру, что он почти Бог. Для него был разработан особый и чрезвычайно сложный этикет, которому его придворные следовали в повседневной жизни. Самые обиходные действия и едва ли не физиологические акты государя обставлялись с подробно расписанными церемониями и напоминали священные обряды. В утренние часы в опочивальне Людовика собирались принцы крови и представители самых знатных французских семей; дождавшись его пробуждения, они строгой чередой подходили к его величеству. Первый вручал ему носки, второй коленапреклоненно протягивал королевские подвязки, третий держал наготове парик, и так до тех пор, пока не бывала полностью облачена неуклюжая, расплывшаяся фигура монарха. Не хватало лишь фимиама, которым повелителя окуривали бы на каждой из этих стадий — существенное упущение с его стороны!

Посредственность интеллекта Людовика проявлялась, помимо того, в его животном сластолюбии, о чем будет рассказано чуть позже. За своим, по выражению Сен-Симона, «ужас, каким громадным величием» король пытался скрыть бессердечие и отсутствие

человечности.

Дьявольские плоды его правления страна вкушала еще и через сотню лет, прежде чем установленный им порядок был сметен, как устаревший хлам. В эпоху Людовика XIV Франция стала великой державой, но не благодаря, а скорее вопреки своему королю. В конце концов он и сам понимал, что его власть не абсолютна. Государство держалось на таких талантливых людях, как Кольбер и Лувуа, на великом гении французского народа, который заявлял о себе при любом режиме, и, наконец, существовала мадам де Монтеспан. Не следует преуменьшать ее влияние на Людовика и на его славу, поскольку она была *maitresse en titre* (Официальной любовницей (фр.)) и более чем королевой Франции как раз в самый блестящий период его правления, между 1668 и 1678 годами.

Вообще женщины при дворе Людовика XIV играли значительную роль. Стоило государю обратить на какую-нибудь из фрейлин свои темные глаза, как она таяла, словно воск, под лучами Короля-Солнца. Однако мадам де Монтеспан был доступен секрет обратного воздействия, и сам венценосец превратился в воск, из которого ее ручки могли вылепить любую модель. Вот этого-то секрета — тайной страницы истории Франции — мы и собираемся коснуться в нашем рассказе.

Франсуаза Афина де Тоннэ-Шаран появилась при дворе в качестве фрейлины королевы в 1660 году. Ум и грация юной девицы были под стать ее красе, а набожность и благочестие служили образцом добродетели для всех фрейлин. Так продолжалось, пока дьявол-искуситель не соблазнил молодую особу. Когда же это произошло, она не просто вкусила плод запретного дерева — она опустошила целый сад. Дочь Евы пала жертвой непомерной гордыни и тщеславия; не последнюю роль сыграла и обыкновенная зависть, которая охватывала Франсуазу всякий раз, когда она видела, какие почести и роскошь окружают фаворитку короля Луизу де Лавалье.

Через три года после своего появления в свете фрейлина вышла замуж за маркиза де Монтеспана, но и это не утолило ее алчности, затаенных амбиций и страстных желаний. Наконец, удача улыбнулась маркизе: Король-Солнце обратил свой благосклонный взор на пышные прелести юной красавицы. Упускать такую возможность было нельзя, но нелепое поведение ее мужа чуть было не испортило ей всего дела. Глупый маркиз оказался столь старомоден и нерасчетлив, что не оценил чести, оказанной ему монархом, и имел дерзость оспаривать у Юпитера свою жену.

Когда Монтеспан начал неосмотрительно причинять слишком много беспокойства, открыто понося короля, это так удивило кузину Людовика мадмуазель де Монпансье, что она назвала его «человеком экстравагантным и экстраординарным» и заявила ему в лицо, что он, должно быть, не в своем уме. Однако представления маркиза о чести и достоинстве оказались столь своеобразны и консервативны, что он с нею не согласился и не внял дружеским советам. Монтеспан дошел до того, что чуть ли не устраивал королю скандалы, цитировал в его присутствии Священное Писание и прозрачно намекал на царя Давида, осмелившись даже призвать на голову Короля-Солнца кару Божественного правосудия. Все это отдавало дурным вкусом, и если маркиз избежал тайного указа о заключении в Бастилию, то лишь потому, что король опасался широкой огласки его скандальных намеков и оскорблений, могущих бросить тень на его монаршую непогрешимость.

Маркиза наедине с Монтеспаном ругательски ругала его за эти выходки, на людях же только холодно улыбалась. Как-то, в ответ на требование мадмуазель де Монпансье приструнить своего мужа — ради его же собственной безопасности — маркиза горько усмеялась:

— Мне стыдно за него. Ему лишь бы потешить публику.

Ничего хорошего из упрямства маркиза не вышло. Не помогли ни попытки взывать к

королевской порядочности, ни домашнее рукоприкладство. Кончилось дело тем, что, создав другим массу осложнений, он из-за своего неразумного поведения растерял друзей и оказался на грани разорения. Осознав, что он справедливости не добьется, маркиз де Монтеспан вышел в отставку, разыграв напоследок прощальный спектакль на свой собственный манер. Вырядившись в траур, словно вдовец, со свитой одетых в черное слуг он прибыл во дворец в похоронной карете и церемонно попрощался со всеми придворными. Король-Солнце оказался выставленным на посмешище и был глубоко уязвлен.

С этих пор Монтеспан больше при дворе не появлялся и отдал свою жену королю. Вскоре он удалился в свое родовое поместье, а несколько позже, предупрежденный доброжелателями о том, что Луи намерен с ним покончить, покинул пределы Франции.

Маркиза де Монтеспан окончательно утвердилась в положении *maitresse en titre* и в январе 1669 года разрешилась младенцем — герцогом Майнским, первым из семи отпрысков, которых она родила королю. Парламент всех их узаконил, объявив «королевскими детьми Франции»; всем им были пожалованы титулы, а к ним — поместья и наследственная королевская рента. Достоинство удивления, что революция произошла не тогда же, а лишнюю сотню лет спустя, когда угнетенный народ не выдержал невыносимого бремени налогов и восстал, чтобы покончить с паразитами.

Великолепие фаворитки было в те дни столь блистательно, как никогда при французском дворе прежде не бывало. В ее поместье Кланьи, что близ Версаля, высился теперь огромный замок. Правда, начал Людовик со строительства загородной виллы, но мадам де Монтеспан это не устраивало.

— Вилла хороша для оперной певички, — оскорбилась она, после чего пристыженному монарху ничего не оставалось делать, кроме как приказать снести виллу и поручить прославленному архитектору Мансару спроектировать и воздвигнуть на ее месте сверхкоролевскую резиденцию.

Да и в самом Версале апартаменты мадам де Монтеспан занимали двадцать комнат первого этажа, в то время как многострадальная королева довольствовалась лишь десятью комнатами второго. Шлейф королевы вполне мог нести за нею обыкновенный паж, но для фаворитки те же обязанности должна была выполнять никак не меньше чем супруга маршала Франции. Немногие государыни способны были держаться с таким подлинно королевским достоинством, как маркиза. Мадам де Монтеспан всюду сопровождал отряд телохранителей, королевские офицеры отдавали ей честь, а во время путешествий за ее каретой, влекомой шестеркой лошадей, тянулась кавалькада почетного эскорта и бесконечный кортеж свиты.

Как писала мадам де Севиньи, триумф ее был громок и молниеносен. В непомерной гордыне мадам за семь лет прибрала к рукам все и вся и начала тиранить окружающих, в том числе самого короля. Он сделался ее робким и покорным рабом, да только рабство это, видно, было не таким уж и сладким.

Постоянство и покорность не входят в число добродетелей Юпитера. Поначалу король стал раздражителен, а потом сорвался и, отбросив всякую сдержанность, пустился в скандальный и вопиющий разврат. Представляется сомнительным, чтобы в богатой истории всевозможных королевских походов удалось обнаружить параллели этому любвеобильному периоду в жизни Короля-Солнца. В продолжение нескольких месяцев мадам де Субис, мадемуазель де Рошфор-Теобан, мадам де Лу де Людре и множество менее значительных особ стремительной чередой прошли сквозь горнило монаршьей нежности, а точнее, через королевскую постель; и наконец двор с изумлением воззрелся на вдову Скаррон и воздаваемые ей со всеми положенными церемониями почести. Назначение вдовы на должность гувернантки королевских отпрысков никого не могло ввести в заблуждение касательно истинного положения вдовы во дворце.

Так закончилась семилетняя абсолютная власть мадам де Монтеспан. И благородные кавалеры, и простолюдины продолжали относиться к ней с благоговейным трепетом, но, забытая Людовиком, она теперь принимала почести за насмешку и, сохраняя высокомерную улыбку, лелеяла в душе жажду мести. Отставная фаворитка откровенно насмеялась над дурным вкусом короля; ее острый ум нашел применение в опасных словесных стычках с заменявшими ее дамами, но, даже ослепленная ревностью, маркиза опасалась перейти грань, за которой ее могла постичь судьба ее предшественницы Лавалье...

Страх этой участи и сегодня глодал сердце мадам де Монтеспан. Она сидела спиной к окну, и в глазах ее мелькали отблески адского пламени, сжигавшего ее душу. Привыкшая играть главные роли, она упала нынче до положения зрителя дворцовой комедии и молча наблюдала за переменчивой говорливой толпой блестящих придворных. Тут ее внимание привлек стройный молодой человек, выделяющийся в пестром сборище своим черным с головы до пят платьем. Лицо его, то ли мрачное, то ли печальное, несло на себе печать внутренней сосредоточенности, а глаза, не будь он сейчас погружен в свои мысли, могли пронизывать насквозь.

Это был мсье де Ванан из Прованса. Ходили слухи, что он балуется магией, и в прошлой его жизни были один-два эпизода, в которых не обошлось без колдовства и о которых до сих пор шептались в округе. Ванан не скрывал, что обучался алхимии и был «философом», то есть человеком, пытающимся найти философский камень— легендарное вещество, способное превращать металлы в золото. Однако если бы молодого алхимика обвинили в черной магии, он стал бы это отрицать, хотя и не слишком убедительно.

И вот, завидев этого опасного человека, мадам де Монтеспан внезапно в последней отчаянной надежде решила обратиться к нему за помощью. Она дождалась, пока он на нее посмотрит, и с томной улыбкой на устах ленивым взмахом веера подозвала его к себе.

— Ванан, я слышала, ваши философские успехи столь велики, что вам удалось превратить медь в серебро?

Его колючий взгляд уставился на нее в упор, тонкие губы тронула улыбка.

— Это правда, — ответил Ванан. — Я сделал слиток чистого серебра, который приобрел у меня монетный двор.

Интерес мадам де Монтеспан, казалось, возрос.

— О, монетный двор! — повторила она удивленно. — Но ведь это, друг мой...— Она задохнулась от волнения. — Это же чудо!

— Никак не меньше того, — согласился алхимик. — Но предстоит еще большее чудо

— трансмутация неблагородного металла в золото.

— И вы его превратите?

— Дайте мне только добыть секрет затвердевания ртути, остальное — пустяк. А я добуду его, и очень скоро.

Алхимик говорил со спокойной уверенностью человека, утверждающего нечто, в чем он нисколько не сомневается.

Маркиза задумалась, потом вздохнула.

— Вы мастер на такие вещи, Ванан. А не знаете ли вы средства смягчить каменное сердце, сделать его более податливым?

Ванан взглянул на даму, которую Сен-Симон называл «прекрасная как день», и широко улыбнулся:

— Посмотрите на себя в зеркало — разве вам нужна алхимия?

Гнев тенью пробежал по прекрасному лицу маркизы. Она мрачно ответила:

— Я смотрела — и напрасно. Вам многое доступно, Ванан. Сумеете ли вы мне помочь?

— Любовное зелье, — хмыкнул он. — Вы это всерьез?

— Ты надо мной издеваешься! Зачем ты произнес эти слова — чтобы все услышали? Ванан убрал с лица улыбку.

— Алхимия, которой я занимаюсь, вам не поможет, — тихо сказал он. — Но я знаком с теми, кто может это сделать.

Маркиза с горячностью схватила его за запястье.

— Я хорошо заплачу, — пообещала она.

— Вам придется. Подобные услуги довольно дороги. — Алхимик оглянулся, желая удостовериться, что их никто не подслушивает, и наклонился к маркизе: — На улице Таннери живет одна колдунья по имени Лавуазен. Она известна многим придворным дамам как предсказательница судьбы. Если хотите, я мог бы замолвить ей за вас словечко.

Мадам Монтеспан вдруг побледнела. Богобоязненное воспитание и укоренившиеся привычки, несмотря на беспорядочную греховную жизнь, которую она вела, заставили ее содрогнуться от отвращения перед затеянным кощунством. Колдовство ведь от дьявола. Она высказала свои сомнения. Ванан рассмеялся:

— Но если оно подействует... — и пожал плечами.

В эту минуту в другом конце зала зазвенел женский смех. Маркиза бросила туда взгляд и увидела самодовольного короля, со снисходительным обожанием склонившего голову к ушку прелестной мадам де Людре. Внезапная ярость мутной волной окатила душу маркизы де Монтеспан. Благочестивые сомнения были тотчас забыты. Пусть Ванан проводит ее к этой своей ведьме. Посмотрим, что из этого выйдет, а там будь что будет.

Так темной ночью, в конце года, на углу улицы Таннери появился экипаж, из которого, оперевшись на руку Луи де Ванана, сошла дама в маске и запахнутом плаще. Ванан проводил даму к дому мадам Лавуазен.

Дверь отворила двадцатилетняя дочь колдуньи Маргарита, которая отвела их наверх, в приятно обставленную комнату, обитую фантастическими обоями с красным рисунком по черному фону. Рисунок ткани изображал каких-то устрашающих призраков, колеблющихся в неверном свете нескольких свечей. Раздвинулись черные портьеры, и в комнату вошла хозяйка — пухлая низенькая дама, по-своему миловидная, в невероятном темно-красном бархатном плаще с оторочкой из дорогого меха. Плащ был вышит золотыми двуглавыми орлами и стоил, наверное, не меньше, чем мантия принца. Ноги колдуньи были обуты в красные туфли с теми же золотыми орлами.

— А, это вы, Ванан! — фамильярно приветствовала его хозяйка.

Алхимик поклонился.

— Я привел к вам даму, которая нуждается в вашем искусстве, — сказал он, указывая рукой

на свою закутанную в плащ спутницу.

Мадам Лавуазен оглядела гостью круглыми бусинками глаз.

— Маска тоже может мне кое о чем рассказать, мадам маркиза, — дерзко сказала она. — Королю, поверьте, не понравилось бы выражение лица, которое вы под нею скрываете.

— Вы знаете меня? — удивленно и сердито воскликнула мадам де Монтеспан, срывая маску.

— Чему же здесь удивляться? — спросила мадам Лавуазен.

— Если желаете, я также скажу вам, что вы прячете в своем сердце.

Мадам де Монтеспан, как все набожные люди, была очень легковерна.

— Раз уж вы все равно знаете, что мне от вас нужно, — взволнованно заговорила она, — то ответьте, сможете ли вы это для меня сделать? Я хорошо заплачу.

Мадам Лавуазен таинственно улыбнулась.

— Черствость, действительно, не поддается лечению обычными методами, — произнесла она. — Но позвольте мне сначала подумать, чем тут можно помочь. За ответом приходите через несколько дней. Только хватит ли у вас смелости пройти через тяжелое испытание?

— Я готова на все, если это сулит удачу.

— Тогда ждите от меня весточки, — заключила ведьма, и на этом они расстались.

Вручив колдунье, как ее учил Ванан, тугой кошелек, маркиза укатила в Кланьи. Участие алхимика в этой истории, насколько можно судить по отрывочным сведениям, ограничилось тем, что он познакомил знатную даму с колдуньей.

Мадам де Монтеспан провела в Кланьи три дня нетерпеливого ожидания. Наконец к ней явилась сама мадам Лавуазен. Однако ее слова заставили маркизу в ужасе отпрянуть. Колдунья предложила обратиться к аббату Гибуру, с тем чтобы тот отслужил черную мессу. Мадам де Монтеспан понаслышке было известно кое-что о странных обрядах с жертвоприношениями сатане, и, хотя знала она немного, этого было достаточно для того, чтобы возбудить в ней негодование и отвращение к белолицей ведьме с пороссячьими глазками, посмеяшей оскорбить ее своим предложением. Задыхаясь от гнева, маркиза долго бушевала и даже чуть было не пустила в ход кулаки, потому что Лавуазен спокойно смотрела на нее с презрительным выражением на самодовольной физиономии. Но постепенно перед этим несокрушимым спокойствием ярость маркизы улеглась, и мадам де Монтеспан одолели сомнения.

Может быть, следует все-таки выяснить подробнее, что ждет ее в случае согласия? К тому же ей страстно хотелось добиться своего, и любопытство взяло верх. Но то, что рассказала колдунья, оказалось еще страшнее, чем маркиза могла себе представить.

Лавуазен начала уговаривать:

— Разве можно получить что-нибудь бесплатно? За все в этой жизни приходится платить.

— Но это же чудовищно! — протестовала маркиза.

— Кто знает, мадам? Чем оценить те блага, которые будут получены вами взамен? А они немалые. Вы познаете ни с чем не сравнимую радость абсолютного телесного здоровья, безграничной власти и почитания. Разве быть больше, чем королевой, не стоит небольшой



жертвы?

Для маркизы де Монтеспан все это стоило гораздо большей жертвы, поэтому она подавила свое отвращение и согласилась участвовать в кошунственном действе.

Ведьма предупредила, что для гарантированного успеха необходимы три мессы, которые нужно отслужить в бездействующей сейчас часовне замка Вильбузен, настоятелем которой был аббат Гибур.

Мрачный средневековый замок с потемневшими от времени стенами высился, окруженный рвом, в уединенном местечке в двух милях от Парижа. Сюда в непроглядную мартовскую ночь приехала мадам де Монтеспан со своей доверенной горничной мадмуазель Дезойет. Оставив экипаж на Орлеанском тракте, они направились за встречавшим их слугой по разбитой грязной дороге к замку, едва маячившему сквозь ненастье. В зубцах старинных башен завывал ветер, и черные тополя, выстроившиеся почетным караулом на пути к дьявольскому месту, со стонами сгибались под яростными порывами. Вода во рву от дождя взбухла почти до краев; от нее исходил смрадный болотный дух.

Заброшенность уединенного замка, мрак и непогода произвели на спутниц гнетущее впечатление. Мадемуазель Дезойет не смела жаловаться вслух и, спотыкаясь, шла вперед за своей госпожой по раскисшей глине, преодолевая ветер, валивший с ног. Миновав подъемный мост, перекинутый через чернильную мерзость, странно булькающую внизу, и ворота крепости, они оказались в обширном дворе. Здесь ветер ослаб. Сквозь щель приоткрытой двери замка на мощный двор падала полоска желтого света, указуя путь к грехопадению.

Каблучки маркизы и ее спутницы застучали по булыжнику, дверь со скрипом растворилась, и освещенный проем затмил женский силуэт. Это была Лавуазен. Она впустила свою клиентку в переднюю с голыми стенами. Свет фонаря падал на дочь колдуньи Маргариту Монвуазен и невзрачного, плутоватого на вид парня в домотканой одежде и рыжем парике — колдуна по имени Лесаж. Во время колдовских обрядов Лесаж обычно был у мадам Лавуазен на подхвате. Он слыл талантливым прохвостом и использовал популярность парижских ведьм к собственной выгоде.

Мадам Лавуазен запалила свечу и, оставив слугу Леруа в компании Лесажа, поднялась с маркизой по широкой каменной лестнице этажом выше. В холодном доме стояла сырость; повсюду гуляли сквозняки. Мадемуазель Дезойет жалась к своей госпоже, а замыкала шествие Марго Монвуазен. В просторной комнате, предварявшей вход в часовню, посередине стояли только дубовый стол да плетеное тростниковое кресло с гнутой ореховой спинкой. Стены прикрывали несколько поблекших, ветхих гобеленов. Настольная лампа с абажуром выделялась одиноким светлым пятном в окружающем мраке, и ее тусклый свет падал на высокого старика лет семидесяти в необычном облачении: белый стихарь поверх его засаленной сутаны был разрисован черными еловыми шишками, орарь из черной;

атласа — тоже в еловых шишках, вышитых желтой нитью. Отталкивающая внешность старика вызвала у маркизы чувство омерзения: его щеки покрывали синие вены, глаза косили в разные стороны, губы провалились внутрь беззубого рта, а голый веснушчатый череп венчали редкие клочки седой пакли. Это и был пресловутый аббат Гибур, ризничий обители Сен-Дени, посвященный в духовный сан и посвятивший себя служению сатане.

Аббат приветствовал знатную гостью низким поклоном, от которого маркизу передернуло. Она выглядела сверхъестественно возбужденной и явно нервничала. Ею опять начинал овладевать страх, но маркиза заставил: «себя переступить порог часовни, тускло освещенной свечами в подсвечнике, установленном позади чаши для святой воды на большом столе. В алтаре свет не горел. Служанку мадам хотели отправить вниз, но та боялась разлучаться со

своей хозяйкой и пошла с нею. Лавуазен затворила дверь, оставив дочь снаружи.

Маргарита никогда не участвовала в колдовских обрядах своей матери, хотя была отчасти осведомлена об их содержании, поэтому она только догадывалась о том, что должно произойти в запертой изнутри часовне. Сжавшись в плетеном кресле, Марго с содроганием представляла себе этот кошмар, когда сквозь завывание ветра в каминной трубе из-за двери донесся гул голосов. Побуждаемая болезненным любопытством, вся дрожа, подкралась она к замочной скважине и, став на колени, заглянула в часовню.

Прямо перед собой она увидела алтарь и перед ним, на столе — обнаженную мадам де Монтеспан. Королевская фаворитка, похожая на мраморную скульптуру, лежала навзничь, вытянувшись в полный рост, с раскинутыми руками, в которых держала по зажженной свече. Она, видимо, впала в экстатический транс. Над нею возвышался аббат Гибур; его фигура загораживала от взора девушки остальное помещение и чашу рядом с телом маркизы.

Гнусавый голос аббата нараспев читал по-латыни. Маргарита узнала Евангелие, читаемое от конца к началу. Затем стали слышны ответы, которые время от времени бормотала ее мать, не видимая Марго в ее наблюдательный глазок.

Маргарита достаточно понимала латынь, чтобы узнать кощунственное извращение символа веры, но, если не брать в расчет естественное любопытство, вызванное в ней присутствием самой маркизы де Монтеспан, все это могло показаться весьма глупой и бессмысленной затеей. Однако Марго Монвуазен так не считала. Когда дело дошло до жертвоприношения, смена событий неожиданно ускорилась. Марго метнулась к креслу, едва не застигнутая распах и не уличенная в подглядывании вышедшей из часовни матерью.

Мадам Лавуазен живо пересекла прихожую и исчезла. Вскоре она вернулась, держа в руках сверток, из которого доносился писк ребенка.

Маргарита Монвуазен обладала достаточным опытом, чтобы догадаться, что за этим последует. Она и сама была молодой матерью, и материнский инстинкт, заложенный, за редким исключением патологических извращений, в каждой женщине, сковал Марго ледяным ужасом.

Она схватилась руками за горло и оцепенела. Ее мать скрылась в часовне. Тогда девушка встала и, словно лунатик, вновь приблизилась к двери и прильнула к замочной скважине.

Богомерзкий жрец повернулся и принял младенца из рук колдуньи. Младенец затих. Маленькое, голое человеческое существо нескольких дней от роду в грязных лапах преступника. Гибур поднял его над алтарем и козлиным голосом забормотал слова демонической молитвы:

— Аштарот, Асмодей, Князь Любви, молю тебя принять эту жертву — младенца, которого я тебе отдаю. Взамен я прошу, чтобы Король Тьмы меня по-прежнему любил, а благородные принцы и принцессы никогда ни в чем мне не отказывали.

Внезапный порыв ветра ворвался в окна часовни и вихрем пронесся над алтарем. В пустом очаге камина прихожей что-то завывало, за окном грохнуло, будто легион чертей атаковал стены замка. Ноги Маргариты подогнулись, и она опустилась на кучу какого-то тряпья. Сквозь шум бури ей послышался взрыв ликующего сатанинского хохота. Стуча зубами, она зажмурилась, заткнула уши, но все равно услышала заплакавшего ребенка. Жалобный плач сменился визгом, потом кашлем, что-то забулькало, звякнул металл о глиняный кувшин, и все смолкло.

Едва Маргарита дотащилась до кресла и упала в него, как из часовни опять появилась ее мать. Ведьма несла в руках купель. Маргарите не нужно было заглядывать в купель, чтобы

узнать, что в ней.

Тем временем в часовне продолжался сатанинский обряд. Теплую человеческую кровь, собранную в чашу для святой воды, Гибур посыпал порошком из шпанских мушек и молотых сушеных кротов, полил кровью летучих мышей и добавил еще какой-то мерзости. Он разболтал все эти ингредиенты с мукой и получил неопишимо тошнотворное месиво, приправив его словами ужасного заклятия.

Маргарита слышала его бляенье сквозь неприкрытую матерью дверь. Ужас все сильнее сдавливал ее горло. Ей чудилось, будто удушливые адские миазмы, порожденные дьявольскими заклинаниями Гибура, выползали из часовни, стлались по полу и поднимались все выше, отравляя воздух и грозя полностью окутать несчастную девушку.

Через полчаса на пороге часовни наконец появилась мадам де Монтеспан. Она была бледна, как мертвец, ее ноги тряслись и колени подгибались; в безумных глазах застыл невыразимый ужас. Все же маркиза умудрялась держаться прямо, почти вызывающе, и что-то резко выговаривала Дезойет, которая в полуобморочном состоянии, пошатываясь, вышла вслед за ней.

Покидая нечестивое место, маркиза уносила с собой некоторое количество дьявольской смеси, которая, будучи высушенной и растертой в порошок, предназначалась для добавления в пищу королю, дабы возродить его угасшее влечение к фаворитке.

Маркиза подговорила одного своего протеже, офицера-интенданта, за щедрую плату подсыпать снадобье в королевский суп. В тот же день с Людовиком приключилась непонятная опасная хворь. Пока государь болел, мадам де Монтеспан всячески проявляла свою заботу и беспокойство о нем, постоянно находилась рядом, и по его выздоровлению ей показалось, что тайное, тогда уже троекратное причастие возымело свое колдовское действие. Результат, действительно, свидетельствовал о том, что она не напрасно подвергла себя кошмарному испытанию, участвуя в сатанинской мессе. Мадам де Людре была забыта, а вскоре король охладел и к вдове Скаррон. Ветреный монарх, пренебрегая всеми соблазнами двора, снова оказался у ног очаровательной маркизы ее верным и покорным рабом.

Таким образом, маркиза де Монтеспан вновь с триумфом утвердилась в фаворитках Короля-Солнца. Мадам де Севинье, описывая этот период их взаимоотношений, подчеркивала, что примирение было полным, заметив при этом, что к ним, кажется, вернулся прежний сердечный пыл.

Ничто не омрачало счастья мадам де Монтеспан. Никогда еще ее власть над королем и его двором не была столь абсолютной. Так продолжалось целых два года.

Но вскоре оказалось, что это последняя вспышка умирающего огня. В 1679 году ее погасила мадмуазель де Фонтанж. Фрейлина королевы, не старше восемнадцати лет — совсем еще ребенок, прелестная и свежая, она очаровала венценосца своими большими наивными глазами. И вот из-за этой куколки с румяными щечками и льняными волосами царствующая мадам де Монтеспан получила окончательную отставку.

Людовик осыпал новую фаворитку милостями и подарками. Он пожаловал ей титул герцогини с доходом в двадцать тысяч ливров. Подданные шушукались и роптали, маркизу же это попросту бесило. В слепой ярости она открыто оскорбляла новоиспеченную герцогиню и однажды спровоцировала Людовика на публичный скандал, с небывалой откровенностью и завидной смелостью заявив ему в глаза:

— Вы обесчестили свое звание, вы покрыли себя позором. Вам явно изменил вкус. Надо же — завести шашни этой маленькой пустышкой, у которой ума и хорошего воспитания не больше, чем у бездушной бело-розовой куклы! — Маркиза презрительно усмехнулась,

заклучив свою речь беспрецедентным оскорблением: — И вы — король! — стали любовником этой неотесанной деревенщины!

Людовик побагровел и грозно воскликнул:

— Бессовестная ложь! Мадам, вы совершенно невыносимы! — Его ярость, понятное дело, лишь усиливали спокойствие и ледяная улыбка мадам де Монтеспан, ведь до сих пор самые гордые головы во Франции непременно склонялись перед его гневом. — Вашими устами говорит ваша дьявольская гордость, ваша ненасытная алчность и безжалостная душа деспота. У вас самый лживый и ядовитый на свете язык!

Грубый ответ маркизы низринул божество с небес на землю.

— Все мои несовершенства, — усмехнулась она, — ничто в сравнении с вашей похотливостью.

Это было уже слишком. Король посерел, как воск. Слова маркизы лишили ее последнего шанса. Людовик не мог стерпеть такого надругательства над своим «грозным божественным великолепием». Она низвергла его с трона божества и выставила напоказ его человеческую слабость. Простить такое было невозможно.

Гробовое молчание нависло над остолбеневшими свидетелями королевского унижения. Потом, в тщетной попытке спасти свое поруганное достоинство, Людовик без единого слова круто повернулся и удалился, громко стуча каблуками по полированному паркету.

Тут мадам де Монтеспан отчетливо осознала, какую непоправимую глупость она совершила, но ничего, кроме ярости, не почувствовала — ярости и жажды мести. Нет, герцогине Фонтанж не придется наслаждаться плодами своей победы! И Луи не избежит наказания за свою неверность! Колдунья Лавуазен поможет маркизе

— у нее наверняка найдется подходящее средство.

И мадам де Монтеспан снова отправилась на улицу Таннери.

Новая услуга, понадобившаяся маркизе, для колдуньи была не в диковинку. Если даму беспокоит соперница, а ей страстно необходимо сохранить благосклонность мужа, если есть некто, слишком упорно цепляющийся за свою никчемную жизнь, и ее нужно слегка подсократить, — у ведьмы всегда наготове парочка заклинаний и рецепт снадобья, среди компонентов которого преобладает порошок мышьяка. Берите склянку — и дело в шляпе.

В самом деле, сей удобный метод распространился столь широко и повсеместно, что правительство, шокированное откровениями маркизы де Бренвийер, учредило в 1670 году специальный трибунал, известный как Горячая Палата, для расследования и исполнения приговоров за подобного рода преступления.

Ведьма Лавуазен обещала посодействовать маркизе. Она стакнулась с другой ведьмой, по имени Ляфилястр, имевшей зловещую репутацию, привлекла своего компаньона Лесажа, двух опытных отравителей — Романи и Бертрана, и все вместе они изобрели хитроумный план убийства герцогини Фонтанж. Романи под видом торговца нарядами и Бертран под видом его слуги должны были заявиться в дом герцогини и предложить ей разных товаров, в том числе модные перчатки из Гренобля, славящиеся во всем мире. Фонтанж, разумеется, попадет на эту приманку и, поносив должным образом обработанные перчатки, умрет медленной смертью. При этом ни у кого не должно возникнуть подозрения в ее отравлении.

Короля предполагалось устранить посредством некоего документа — прошения, пропитанного тем же ядом, вызывающим смерть при соприкосновении с кожей. Мадам Лавуазен бралась

сама пойти в понедельник, тринадцатого марта, в Сен-Жермен и вручить прошение королю лично в руки. В этот день, согласно старинной традиции, король и его министры принимали всех желающих в одном большом приемном зале.

Так решила шайка отравителей. Но судьба распорядилась по-иному. Неумолимый рок уже приблизился к колдунье.

За три месяца до описываемых событий одна вульгарная особа выпила лишний стакан вина, который и спас короля. Как мы видим, между причиной и следствием может наблюдаться прямо-таки гротесковая несоразмерность.

Портной по имени Вигорѳ устроил в тот день званый обед, на который пригласил нескольких друзей. Среди приглашенных была приятельница его жены (жена, между прочим, тайком поколдовывала). Приятельницу звали Мари Боссе. Эта самая Мари Боссе как раз и выпила упомянутый лишний стакан вина, развязавший ей язык. Она принялась хвастать своей способностью предсказывать будущее и тем, что она неплохо наживаетея на этом ремесле, ибо к ней зачастили благородные господа.

— Вот только боюсь, недолго мне тешиться прибылью, — хихикнула она. — Тут появилась еще парочка отравителей, так что предсказывать будущее скоро станет некому.

Один присутствовавший за обедом адвокат наострил уши, вспомнил истории, бывшие у всех на слуху, и поставил в известность полицию. Полиция подстроила Мари Боссе ловушку, в которую та благополучно попала. Под пыткой она выдала имя мадам Вигорѳ, та — еще нескольких, и так далее.

Арест Мари Боссе повлек за собой цепь расследований дел о колдовстве, последнее из которых — кто бы мог предположить? — привело в королевский дворец.

За день до запланированного визита мадам Лавуазен в Сен-Жермен ее вызвали в полицию, где арестовали и препроводили в Шателе. На допросе Лавуазен призналась в большинстве своих преступлений, но страх перед ужасной карой за цареубийство заставил ее кое о чем помалкивать. До самой своей казни она так и не проговорилась о знакомстве с маркизой де Монтеспан. Колдунья окончила свои дни в феврале 1680 года на колу.

Но нашлись другие — те, кого ведьма предала под пыткой и кто был послабее характером. Полиция арестовала ведьму Ляфилястр и колдуна Лесажа. Лишь только выяснилось, что эти двое были связаны между собой и сообщничали в самых невероятных делах, Горячая Палата взялась за них вплотную и напала на след попытки отравления монарха. Председатель Палаты Лорейни немедленно положил доклад на стол перед королем, и тот, ужаснувшись злодеяниям, в которых участвовала мать его детей, приостановил заседания Горячей Палаты, приказав прекратить допросы Лесажа и Ляфилястр и не начинать допрашивать Романи, Бертрана, аббата Гибура и остальных арестованных отравителей и колдунов, осведомленных о кошмарных преступлениях маркизы де Монтеспан.

Впрочем, Людовик XIV вовсе не стремился спасти маркизу; он заботился только о себе — как бы не уронить своего королевского достоинства. Для него не было ничего страшнее, чем быть замешанным в скандале или оказаться в смешном положении, а это должно было неизбежно случиться, стань дело достоянием гласности.

Король так этого боялся, что не мог наказать мадам де Монтеспан, поэтому он через своего министра Лувуа назначил ей аудиенцию, во время которой поставил в известность о следствии по делу узников Горячей Палаты.

Гордая, еще недавно всевластная дама затрепетала. Впервые в жизни она зарыдала и проявила покорность, но король остался тверд и равнодушен к ее слезам. Он сказал, сколь

ему отвратительна маркиза, запятнавшая себя гнусным кощунством. Он не говорил о ее преступлении прямо, но намеками в достаточной степени проявил свою осведомленность. Де Монтеспан поначалу была сражена его обвинениями и подавленно всхлипывала, однако не в ее натуре было долго и безропотно внимать упрекам. Презрение и демонстративная неприязнь Людовика пробудили в ней гнев, и всю ее покорность как рукой сняло.

— Ну так что ж? — воскликнула она, сверкая мокрыми глазами. — Разве только моя в этом вина? Пусть все, в чем вы меня обвиняете, — правда. Но не меньшая правда и то, что вы своим бессердечием и изменами ввергли меня в бездну отчаяния. Я вас любила, — продолжала маркиза, — ради вас я пожертвовала моей честью, моим любящим мужем, этим честным и благородным человеком, — я пожертвовала всем, чем только может дорожить женщина. И что я получила от вас в награду? Ваши жестокость и непостоянство сделали меня посмешищем придворных лизоблюдов. И вас еще удивляет, как я могла впасть в такое безумие? Как смогла я потерять жалкие крохи чести и чувства собственного достоинства, которые у меня еще оставались? Я давно потеряла все, кроме жизни. Возьмите и ее, если это доставит вам удовольствие. Небесам известно, сколь мало она для меня значит! Но не забудьте: занося руку надо мной, вы ударите мать ваших детей— законных детей Франции. Помните об этом!

А Людовик об этом и не забывал. Маркиза вполне могла ограничиться намеком на потерю королем своего реноме и репутации божества, которому можно только поклоняться. Впрочем, и этого не требовалось.

Дабы избежать скандальных слухов, маркизе позволили остаться жить при дворе, хотя апартаменты в первом этаже ей пришлось освободить. Лишь десять лет спустя мадам де Монтеспан удалилась в местечко Сен-Жозеф.

Но и в опале тайно изобличенная преступница, покушавшаяся, помимо прочих злодеяний, на жизнь Короля-Солнца и своей соперницы, получала ежегодную пенсию в 1 200 000 ливров. В то же время власти не осмелились продолжать судопроизводство и против ее сообщников — зловещего аббата Гибура, отравителей Романи и Бертрана и колдуньи Ляфилястр. Даже тех, кто прямо не разделял их вину, но сотрудничал с этими мерзавцами, зарабатывая на жизнь колдовством и ядом, тоже оставили в покое: они могли случайно знать и рассказать под пытками об ужасной ночи колдовства в замке Вильбузен.

Потребовался взрыв и революционный переворот, чтобы очистить Францию от расплодившейся нечисти.

## ТИРАНОУБИЙЦА. Шарлотта Корде и Жан-Поль Марат

Адам Люкс влюбился в Шарлотту Корде, не перемолвившись с нею даже словом, не обменявшись взглядом. Ее везли на телеге к эшафоту, и в этот миг сердце молодого человека, стоящего в толпе зевак, внезапно поразила платоническая, но гибельная страсть.

Тираноубийца до конца осталась в неведении о его существовании и, уж конечно, не могла подозревать, что стала предметом чистой, самолюбивой любви и причиной еще одной смерти.

Роман этот — безусловно, самый странный из всех романов, попавших в анналы истории. Его вызвал к жизни дух бунтарства, ветер безумств, и своеобразный пафос революционных времен не оставляет места расхожим суждениям на судьбу («как все могло бы сложиться, не вмешайся старуха с косою»). Адам Люкс полюбил Шарлотту потому, что она умерла, и умер

из-за того, что полюбил. Каждый из них прошел по-своему величественный путь, но равно бессмысленными, с нашей точки зрения, были спокойная жертва, принесенная девушкой на алтарь Республики, и восторженное мученичество Люкса на алтаре Любви.

К этому, собственно, почти нечего добавить, за исключением некоторых подробностей, каковыми мы и рискнем еще ненадолго занять внимание читателей.

— Монастырская воспитанница Мари-Шарлотта Корде д'Армон была дочерью безземельного нормандского помещика — захудалого дворянина, хотя и знатного по рождению, но в силу несчастливой судьбы и стесненных условий настроенного, по-видимому, против закона о майорате, или права первородства, — главной причины неравенства, вызвавшего во Франции столь бедственные потрясения. Подобно многим людям его круга со сходными жизненными обстоятельствами, он оказался в числе первых новообращенных республиканской веры — незамутненной идеи конституционного правительства из народа и для народа. Пришла пора избавиться от паразитизма дряхлой монархии и господства изнеженных аристократов.

Шарлотта прониклась высокими республиканскими идеалами мсье де Корде, во имя которых вскоре пожертвует жизнью; она с ликованием встретила час пробуждения, когда дети Франции восстали ото сна и свергли наглуго горстку «братьев-соотечественников», сковавшую народ вековыми цепями рабства.

Изначальную жестокость революции Шарлотта считала временной и быстротечной. Ужасные, но неизбежные конвульсии, сопровождающие пробуждение страны, скоро кончатся, и к власти придет мудрое, идеальное правительство, о котором она мечтала, — обязано прийти, ведь среди избранных народом депутатов значительную часть составляют бескорыстные и преданные Свободе люди, выходцы из того же класса, что и отец. Все они получили хорошее воспитание и разностороннее образование, они руководствовались исключительно любовью к людям и к родине и создали партию, известную под названием Жиронда.

Однако логикой политической борьбы возникновение какой-либо партии означает появление по меньшей мере еще одной. И та, другая, партия, тоже представленная в Национальном собрании и называемая партией якобинцев, имела менее ясные устремления, зато действовала решительнее. В первые ряды якобинцев выдвинулся бескомпромиссный и безжалостный триумвират Робеспьера, Дантона и Марата.

Если Жиронда стояла за республику, то якобинцы выступали за анархию; между партиями началась война.

Жиронда ускорила свое падение, обвинив Марата в соучастии в сентябрьской резне. Триумфальное оправдание Марата и изгнание вслед за этим двадцати девяти депутатов стали прелюдией к уничтожению Жиронды. Опальные депутаты бежали в провинцию в надежде заручиться поддержкой армии — одна армия могла бы еще спасти Францию. Некоторые из беглецов направились в Кан. Едкими памфлетами и пламенными речами они стремились вызвать всплеск воодушевления всех подлинных республиканцев и поднять их против узурпаторов. Красноречивые ораторы и талантливые литераторы, они, наверное, сумели бы добиться успеха, если бы в покинутом ими Париже не остался другой, не менее одаренный человек, обладавший более глубоким знанием психологии пролетариата, не ведавший усталости и в совершенстве владевший искусством разжигать страсти толпы своим саркастичным пером.

Этим человеком был Жан-Поль Марат, бывший практикующий врач, бывший профессор литературы, окончивший Шотландский университет святого Андрея, автор нескольких научных и множества социологических трудов, закоренелый памфлетист и революционный журналист, издатель и редактор «Друга Народа». Он был кумиром парижской черни, которая

наградила его прозвищем, порожденным названием газеты, и потому его больше знали под именем Друга Народа.

Таков был враг жирондистов и чистого — альтруистического и утопического — «республиканизма», за который они ратовали; и пока он жил и творил, втуне пропадали их собственные усилия увлечь французов за собой. Своим умным и опасным пером из логова на улице Медицинской Школы Марат плел тенета, парализующие любые возвышенные устремления, угрожая окончательно удушить Свободу.

Разумеется, он действовал не в одиночку — его союзниками по грозному триумvirату являлись Дантон и Робеспьер, — однако именно Марата жирондисты считали наиболее страшным, безжалостным и непримиримым из всей троицы. Во всяком случае, Шарлотте Конде, другу и союзнице опальных депутатов, нашедших убежище в Кане, он рисовался в воображении столь ужасным, что совершенно затмевал сообщников. Юному уму, распаленному религиозным экстазом проповедуемой жирондистами Свободы, Марат казался опасным еретиком, извратившим новую великую веру ложной анархической доктриной и стремящимся заменить низвергнутую тиранию тиранией еще более отвратительной.

В Кане Шарлотта стала свидетельницей краха попытки жирондистов поднять войска и вырвать Париж из грязных лап якобинцев. С болью в сердце наблюдая этот провал, она увидела в нем признак того, что Свободу задушили в колыбели. Вновь и вновь слышала она из уст друзей имя Марата, могильщика Свободы, и наконец пришла к заключению, выраженному одной фразой из письма примерно того времени: «Друзья гуманности и закона никогда не будут в безопасности, доколе жив Марат».

Единственный шаг отделял этот негативный вывод от его позитивного логического эквивалента, и такой шаг был сделан. Неизвестно, родилось ли намерение Шарлотты постепенно или внезапно, но у нее была полная возможность не спеша разработать свой план. Она осознавала необходимость великой жертвы — ведь тот, кто возьмется за избавление Франции от гнусного чудовища, должен быть готов к самопожертвованию. Девушка взвесила все спокойно и трезво, и столь же трезвым и спокойным будет отныне любой ее поступок.

Однажды утром она уложила багаж и почтовой каретой отправилась из Кана в Париж, написав отцу: «Я уезжаю в Англию, ибо не верю в долгую и мирную жизнь во Франции. Письмо я отправлю с дороги, и когда вы его получите, меня здесь уже не будет. Небеса отказывают нам в счастье жить вместе, как и в иных радостях. Быть может, это еще не самое жестокое в нашей стране. Прощайте, дорогой отец. Обнимите от меня сестру и не забывайте свою любящую дочь».

Больше в записке ничего не было. Выдумка с отъездом в Англию понадобилась ей, чтобы избавить отца от страданий: согласно своим планам, Шарлотта Конде собиралась остаться инкогнито. Она отыщет Марата непосредственно в Конвенте и публично прикончит в его собственном кресле. Париж узрит Немезиду, карающую лжереспубликанца в том самом Собрании, которое тот развратил, и сцена гибели чудовища послужит уроком всем тиранам. Что касается самой Шарлотты, то она рассчитывала принять мгновенную смерть от рук разъяренных зрителей. Предполагая погибнуть неопознанной, она надеялась, что отец, услышав вместе со всей Францией о кончине Марата, не свяжет орудие Судьбы, растерзанное взбешенной толпой, с именем своей дочери.

Теперь читателю ясна великая и мрачная цель двадцатипятилетней девушки, скромно расположившейся в парижском дилижансе тем июльским утром второго года Республики — 1793 от Рождества Христова. Она была одета в коричневый дорожный костюм, на груди — кружевная косынка и конусовидная шляпка на светло-каштановой головке. Осанка девушки отличалась достоинством и грацией



— Шарлотта была прекрасно сложена. Кожа светилась той восхитительной белизной, которую принято сравнивать с цветом белых лилий. Глаза — серые, как у Афины, а благородный овал лица чуть тяжелил подбородок с ямочкой. Шарлотта всегда сохраняла спокойствие; оно отражалось во всем — во взгляде, медленно переходящем с предмета на предмет, в сдержанности движений и невозмутимости рассудка.

И пока тяжелые колеса дилижанса катились через поля по парижской дороге, мысли о смертоносной миссии, ради которой предпринималась поездка, не могли нарушить этого ее привычного спокойствия. Шарлотта Конде не ощущала горячечной дрожи возбуждения, ибо не истеричному порыву она подчинилась — у нее была цель, столь же холодная, сколь и высокая, — освободить Францию и заплатить за эту привилегию жизнью.

Поклонник Шарлотты, о котором мы тоже собираемся рассказать, неудачно сравнил ее с другой француженкой и девственницей — Жанной д'Арк. Однако Жанна поднималась к своей вершине в блеске славы, под приветственные возгласы, ее подкрепляли крепкий хмель битв и открытое ликование народа. Шарлотта же тихо путешествовала в душном дилижансе, спокойно сознавая, что дни ее сочтены.

Попутчикам она казалась столь милой, естественной, что один из них, понимавший толк в красоте, два дня докучал ей любовными излияниями и перед тем, как карета вкатилась на мост Нейи в Париже, даже предложил выйти за него замуж.

Шарлотта прибыла в гостиницу «Провиданс» на улице Старых Августинцев, сняла там комнату на первом этаже, а затем отправилась на поиски депутата Дюперре. Жирондист Барбару, с которым она состояла в дружеских отношениях, снабдил ее в Кане рекомендательным письмом к Дюперре, и тот должен был помочь с аудиенцией у министра внутренних дел. Министра же Шарлотта взялась повидать в связи с некими документами по делу бывшей монастырской подруги и торопилась поскорее выполнить это поручение, дабы освободиться для главного дела, ради которого приехала.

Расспросив людей, она выяснила, что Марат болен и безвылазно сидит дома; требовалось на ходу изменять планы, отказавшись от первоначального намерения предать негодяя публичной казни в переполненном Конвенте.

Следующий день — то была пятница — Шарлотта посвятила делам своей подруги-монахини. В субботу утром она поднялась в шесть часов и вышла прогуляться в прохладные сады Пале-Рояля, чтобы подумать без помех о способе достижения цели в неожиданно открывшихся обстоятельствах.

Около восьми, когда Париж пробудился к повседневной суете и открыл ставни, девушка заглянула в скобяную лавку и за два франка купила прочный кухонный нож в шагреневых ножнах. Затем возвратилась в отель к завтраку, после которого, все в том же дорожном платье и конической шляпке, опять вышла и, остановив наемный фиакр, направилась к дому Марата на улице Медицинской Школы.

Однако ей отказали в праве войти в убогое жилище. «Гражданин Марат болен, — сказано было Шарлотте, — и не может принимать посетителей». С таким заявлением ей преградила путь любовница триумвира, Симона Эврар, известная впоследствии как вдова Марата.

Шарлотта вернулась в гостиницу и написала триумвиру письмо:

"Париж, 13 июля 2 года Республики.

Гражданин, я прибыла из Кама. Твоя любовь к стране придала мне уверенности, что ты возьмешь на себя труд выслушать известия о печальных событиях, имеющих место в той части Республики. Поэтому до часу пополудни я буду ждать вызова к тебе. Будь добр принять

меня для минутной аудиенции, и я предоставлю тебе возможность оказать Франции громадную услугу.

Мари Корде».

Отправив письмо, она до вечера тщетно прождала ответа. Наконец, отчаявшись получить его, она набросала вторую записку, менее безапелляционную по тону:

Марат, я писала Вам сегодня утром. Получили ли Вы мое письмо? Смею ли я надеяться на короткую аудиенцию? Если Вы его получили, то, надеюсь, не откажете мне, учитывая важность дела. Сочтете ли Вы достаточным уверение в том, что я очень несчастна, чтобы предоставить мне право на Вашу защиту?

Переодевшись в серое в полоску платье из канифаса — мы видим в этом новое доказательство ее спокойствия, настолько полного, что не было даже малейшего отступления от повседневных привычек, — она отправилась лично вручать второе письмо, пряча нож в складках завязанной высоко на груди муслиновой косынки.

В это время в доме на улице Медицинской Школы Друг Народа принимал ванну в низенькой, едва освещенной и почти не обставленной комнате с кирпичным полом. Водная процедура была продиктована отнюдь не потребностью в чистоте, ибо во всей Франции не сыскалось бы человека более нечистоплотного в привычках, чем триумвир. Его разъедал тяжелый, отвратительный недуг. Для умерения болей, терзавших Марата и отвлекавших его деятельный, неутомимый ум, ему приходилось совершать, эти длительные погружения: ванны притупляли муки брен ного тела.

Марат придавал значение лишь интеллекту и ничему более, по крайней мере для него не существовало ничего важнее. Всем остальным -туловищем, конечностями, органами -он пренебрегал, и тело начало разрушаться. Упомянутое отсутствие чистоплотности, нищета, в которой Мара i жил, недостаточность времени, отводимого на сон, и неразборчивость и нерегулярность в еде — все это происходило от презрения к телесной оболочке. Разносторонне одаренный человек, тонкий лингвист и искусный физик, талантливый естествоиспытатель и глубокий психолог, Марат замкнулся в интеллектуальном уединении, не терпя каких-либо помех. Он соглашался на процедуры и проводил в наполненной лекарствами ванне целые дни лишь потому, что они остужали и гасили пожиравший его огонь и, следовательно позволяли нагружать мозг работой, в которой заключалась вся его жизнь. Но долго терпевшее тело отомстило голове за страдания и небрежение. Нездоровые условия физического бытия дурно повлияли на мозг, и в последние годы характер Марата отличала приводившая людей в замешательство смесь ледяной циничной жестокости и болезненной чувствительности .

Итак, тем июльским вечером Друг Народа сидел по пояс в лекарственной настойке, голова была обмотана грязным тюрбаном, а костлявая спина прикрыта жилетом. В свои пятьдесят лет он уже приближался к гибели от чахотки и прочих хворей, и, знай об этом Шарлотта, у нее не появилось бы желанья убить его. Болезнь и Смерть уже отметили Марата, и ждать оставалось недолго.

Письменным столом ему служила доска, положенная поперек ванны; сбоку, на пустом деревянном ящике, стояла чернильница; там же находилось несколько перьев и листов бумаги, не считая двух-трех экземпляров «Друга Народа». В помещении, кроме шуршания и скрипа гусяного пера, не раздавалось ни звука. Марат усердно редактировал и правил гранки предстоящего выпуска газеты.

Тишину нарушили голоса из соседней комнаты. Они понемногу проникли сквозь пелену сосредоточенности и наконец отвлекли Марата от его трудов; он утомленно заворочался в своей ванне, с минуту прислушивался и недовольно рявкнул:

— Что там происходит?

Дверь отворилась, и вошла его любовница Симона, выполнявшая всю черную работу по дому. Симона была на целых двадцать лет моложе Марата, но неряшливость, к которой она привыкла в этом доме, затушевала признаки некоторой ее миловидности.

— Тут молодая женщина из Кана, она настоятельно требует беседы с вами по делу государственной важности.

При упоминании Кана тусклый взгляд Марата загорелся, на свинцово-сером лице ожил интерес. Ведь это в Кане старые враги-жирондисты подстрекают к бунту.

— Она говорит, — продолжала Симона, — что писала вам сегодня утром, а сейчас сама принесла вторую записку. Я сказала, что вы никого не принимаете и...

— Подай записку, — перебил Марат. Положив перо, он выхватил из рук Симоны сложенный листок, развернул записку, прочел, и его бескровные губы сжались, а глаза хищно сузились. — Пусть войдет! — резко скомандовал он.

Впустив Шарлотту, Симона оставила их наедине — мстительницу и ее жертву. Некоторое время они приглядывались друг к другу. Марата ничуть не взволновал облик красивой и элегантно одетой девушки. Что ему женщины и соблазн красоты? Шарлотта же вполне удовлетворилась отталкивающим видом немощного, опустившегося человека, ибо в его безобразии она находила подтверждение низости ума, который пришла уничтожить.

Марат заговорил первым.

— Так ты из Кана, дитя? — спросил он. — Что же случилось в Кане такого, что заставило тебя настаивать на встрече со мной?

Шарлотта приблизилась:

— Там готовится бунт, гражданин Марат.

— Бунт, ха! — Этот звук был одновременно смешком и карканьем. — Назови мне депутатов, укрывшихся в Кане. Ну же, дитя мое — их имена! — Он схватил перо, обмакнул в чернила и приготовился записывать.

Шарлотта придвинулась еще ближе и стала позади него, прямая и спокойная. Она начала перечислять своих друзей-жирондистов, а он, сгорбившись в ванне, быстро царапал пером по бумаге.

— Сколько работы для гильотины, — проворчал Марат, когда девушка закончила.

Но Шарлотта тем временем вытащила из-под косынки нож, и, когда Марат произнес эти грозившие стать роковыми для кого-то слова, на него молниеносным ударом обрушился его собственный рок. Длинное крепкое лезвие, направленное молодой и сильной рукой, по самую рукоятку вонзилось в его грудь.

Оседая назад, он взглянул на Шарлотту полными недоумения глазами и в последний раз подал голос.

— Ко мне, мой друг! На помощь! — хрипло вскричал Марат и умолк навеки.

Тело его сползло на бок, голова бессильно поникла к правому плечу, а длинная тощая рука свесилась на пол рядом с ванной; кисть все еще продолжала сжимать перо. Кровь хлынула из глубокой раны в груди, окрашивая воду в бурый цвет, забрызгала кирпичный пол и номер

«Друга Народа» — газеты, которой Марат посвятил немалую часть своей многотрудной жизни.

На крик поспешно вбежала Симона. Она с первого взгляда поняла, что произошло, тигрицей бросилась на убийцу, вцепилась ей в волосы и стала громко призывать на подмогу.

Шарлотта не сопротивлялась. Из задней комнаты быстро появились старая кухарка Жанна, привратница и Лоран Басе, фальцовщик Маратовой газеты. Шарлотта оказалась лицом к лицу с четырьмя разъяренными, вопящими на разные голоса людьми — от них вполне можно было ожидать смерти, к которой она готовилась.

Лоран и вправду с размаху ударил ее стулом по голове. В своей ярости он, несомненно, забил бы Шарлотту до смерти, но подоспели жандармы с окружным полицейским комиссаром и взяли ее под арест и защиту.

Весть об этой трагедии разлетелась по городу и потрясла Париж до основания. Целую ночь на улицах царили смятение и страх. Толпы революционеров гневно бурлили вокруг дома, где лежал мертвый Друг Народа.

Всю ночь и последующие два дня и две ночи Шарлотта Корде провела в тюрьме Аббатства, стоически перенося все те унижения, которых почти невозможно избежать женщине в революционном узилище. Она сохраняла полное спокойствие, теперь уже подкрепленное сознанием достигнутой цели и исполненного долга. Она верила, что спасла Францию и Свободу, уничтожив их душителя. Эта иллюзия придавала ей сил, и собственная жизнь казалась пустяковой ценой за столь прекрасный подвиг.

Часть времени Шарлотта провела за написанием посланий друзьям, спокойно и трезво оценивая свой поступок, досконально разъясняя мотивы, которыми руководствовалась, и подробно останавливаясь на деталях исполнения задуманного и его последствиях.

Среди писем, написанных в продолжение «дней приготовления к покою», — как она выразилась о том периоде, датируя пространное послание Барбару, — было и одно в Комитет народной безопасности, в котором Шарлотта испрашивала разрешения на допуск к ней художника-миниатюриста, с тем чтобы оставить память своим друзьям. Только теперь, с приближением конца, в ее действиях проявилась забота о себе, какой-то намек на то, что Шарлотта Корде была чем-то большим, нежели простым орудием в руках Судьбы.

15-го, в восемь утра, началось разбирательство дела в Революционном трибунале. При появлении подсудимой — сдержанная и, как обычно, спокойная, она была в своем канифасовом, сером в полоску платье — по залу пробежал шепот.

Процесс начался с опроса свидетелей, который Шарлотта нетерпеливо прервала, как только вышел отвечать торговец, продавший ей нож.

— Все эти подробности — пустая трата времени, — заявила она. — Марата убила я.

Угрожающий ропот наполнил зал. Судья Монтанэ отпустил свидетелей и возобновил допрос Шарлотты Корде.

— С какой целью ты прибыла в Париж? — спросил он.

— Убить Марата.

— Что толкнуло тебя на это злодеяние?

— Его многочисленные преступления.

— В каких преступлениях ты его обвиняешь?

— Он спровоцировал резню в сентябре; он раздувал огонь гражданской войны, и его собирались избрать диктатором; он посягнул на власть народа, потребовав 31 мая ареста и заключения депутатов Конвента.

— Какие у тебя доказательства?

— Доказательства даст будущее. Марат тщательно скрывал свои намерения под маской патриотизма.

Монтанэ решил перейти к другой теме.

— Кто соучастники твоего зверства?

— У меня нет соучастников. Монтанэ покачал головой:

— И ты смеешь утверждать, что особа твоего пола и возраста самостоятельно замыслила такое преступление и никто не наущал тебя? Ты не желаешь их назвать!

Шарлотта чуть усмехнулась:

— Это свидетельствует о слабом знании человеческого сердца. Такой план легче осуществить под влиянием собственной ненависти, а не чужой. — Она возвысила голос: — Я убила одного, чтобы спасти сотни тысяч; я убила мерзавца, чтобы спасти невинных; я убила свирепого дикого зверя, чтобы дать Франции умиротворение. Я была республиканкой еще до Революции, и мне всегда доставало сил бороться за справедливость.

О чем было вести речь дальше? Вина ее была установлена, а бесстрашное самообладание непоколебимо. Тем не менее грозный обвинитель Фулье-Тенвиль попытался вывести ее из себя. Видя, что трибунал не может взять верх над этой прекрасной и смелой девушкой, он принялся вынюхивать какую-нибудь грязь, чтобы восстановить равновесие.

Медленно поднявшись, он оглядел Шарлотту злобными, как у хорька, глазами.

— Сколько у тебя детей? — глумливо проскрипел он. Щеки Шарлотты слегка порозовели, но тон холодного ответа остался спокойным и презрительным:

— Разве я не говорила, что не замужем?

Впечатление, которое стремился внушить Тенвиль, завершил его злобный сухой смех, и он уселся на место.

Настал черед адвоката Шово де ля Гарда, которому было поручено защищать девицу Корде. Но какая там защита? Шово запугивали: одну записку, с указанием помалкивать, он получил из жюри присяжных и другую, с предложением объявить Шарлотту безумной, — от председателя.

Однако Шово избрал третий путь. Он произнес превосходную краткую речь, которая, не унижая подзащитную, льстила его самолюбию. Речь была целиком правдива.

— Подсудимая, — заявил он, — с полнейшим спокойствием признается в страшном преступлении, которое совершила; она спокойно признается в его преднамеренности; она признает самые жуткие подробности — короче говоря, она признает все и не ищет оправдания. В этом, граждане присяжные, — вся ее защита. В невозмутимом спокойствии и крайней самоотреченности обвиняемой мы не видим никакого раскаяния, невзирая на близкое дыхание самой Смерти. Это противоестественно и можно объяснить лишь

политическим фанатизмом, заставившим ее взяться за оружие. Вам решать, граждане присяжные, перевесят ли эти моральные соображения на весах правосудия.

Жюри присяжных большинством голосов признало Шарлотту виновной, и Тенвиль встал для оглашения окончательного приговора суда.

Это был конец. Ее перевезли в Консьержери, в камеру приговоренных к гильотине; согласно конституции, к ней прислали священника. Но Шарлотта, поблагодарив, отправила его восвояси: она не нуждалась в молитвах. Она предпочла художника Оэра, который по ее просьбе добился разрешения написать портрет. В продолжение получасового сеанса она мирно беседовала с ним; страх близящейся смерти не лишил девушку присутствия духа.

Дверь отворилась, и появился палач Сансон специалист по публичным казням. Он внес красное рубище — одеяние осужденных за убийство. Шарлотта не выказала ни малейшего испуга, лишь легкое удивление тому, что проведенное с Оэром время пролетело так быстро. Она попросила несколько минут, чтобы написать записку, и быстро набросала несколько слов, когда ей это позволили; затем объявила, что готова, и сняла чепец, дабы Сансон мог остричь ее пышные волосы. Однако сначала сама взяла ножницы, отрезала прядь и отдала Оэру на память. Когда Сансон собрался вязать ей руки, она сказала, что хотела бы надеть перчатки, потому что запястья у нее покрыты ссадинами и кровоподтеками от веревки, которой их скрутили в доме Марата. Палач заметил, что в этом нет необходимости, поскольку он свяжет ее, не причиняя боли, но, впрочем, он сделает, как она пожелает.

— У тех, разумеется, не было вашего опыта, — ответила Шарлотта и без дальнейших возражений протянула ему ладони.

— Хотя эти грубые руки обряжают меня для смерти, — промолвила она, — они все-таки приближают меня к бессмертию.

Шарлотта взошла на повозку, поджидавшую в тюремном дворе, и осталась в ней стоять, не обращая внимания на предложенный Сансоном стул, дабы продемонстрировать народу свое бесстрашие и храбро встретить людскую ярость. Улицы были так запружены народом, что телега еле плелась; из гущи толпы раздавались кровожадные возгласы и оскорбления в адрес обреченной. Два часа потребовалось, чтобы достичь площади Республики. Тем временем над Парижем разразилась сильнейшая летняя гроза, и по узким улочкам устремились потоки воды. Шарлотта промокла с головы до пят, красный хитон облепил ее, словно сросшись с кожей и явив глазам лепную красоту девичьего тела. Багряное одеяние бросало теплый отсвет на лицо Шарлотты, усиливая впечатление ее глубокого спокойствия.

Вот тогда-то, на улице Сент-Оноре, куда мы наконец добрались, и вспыхнула трагическая любовь.

Здесь, в беснующейся толпе зевак, стоял стройный и красивый молодой человек по имени Адам Люкс. Он был депутатом Национального Конвента от города Майн-ца, доктором философии и одновременно медицины;

впрочем, как врач не практиковал по причине своей чрезмерной чувствительности, внушавшей ему отвращение к анатомическим исследованиям.

Человек экзальтированный, он рано и неудачно женился и жил теперь с женою врозь: разочарование — частый удел тонких натур. Подобно всему Парижу, он следил за каждой деталью процесса и приговора суда и собирался взглянуть на эту женщину, к которой питал невольную симпатию.

Телега медленно приближалась, вокруг раздались злобные выкрики и проклятия, и наконец Люкс увидел Шарлотту — прекрасную, спокойную, полную жизни, с улыбкой на устах. Адам

Люкс окаменел и заворуженно смотрел на девушку. Затем, невзирая на опасность, снял шляпу и молча отсалютовал, воздавая ей дань уважения. Она его не заметила, да он и не думал, что заметит. Он приветствовал неотзывчивый образ святой. Телега проползла мимо. Люкс, вытянув шею, долго провожал Шарлотту глазами. Затем, работая локтями и расчищая путь сквозь толпу, он, словно в трансе, двинулся вперед, устремив взгляд на девушку.

Когда голова Шарлотты Корде пала, Адам Люкс стоял рядом с эшафотом. До самого конца неотрывно смотрел он на благородное, неизменно спокойное ее лицо, и гул, разросшийся после свиста падающего ножа, перекрыл его голос:

— Она более велика, чем Брут! — И, обращаясь к тем, кто в изумлении обернулся к нему, Люкс добавил: — Было бы счастьем умереть вместе с'нею!

Но молодой человек остался жив. Внимание большинства в тот миг было приковано к подручному палача, который, подняв за волосы отрубленную голову Шарлотты Корде, дал ей пощечину. Предание гласит, что мертвое лицо должно при этом покраснеть. Ученые до сих пор муссируют этот вопрос, и некоторые видят в том доказательство, что сознание покидает мозг не тотчас после обезглавливания.

Когда Париж той ночью уснул, кто-то расклеил по стенам листовки, восхвалявшие Шарлотту Корде — мученицу республиканизма и освободительницу страны. Казненная сравнивалась с величайшей героиней Франции Жанной д'Арк. То была работа Адама Люкса, и он не делал из этого секрета. Образ Шарлотты так подействовал на воображение впечатлительного мечтателя и воспламенил в душе такой энтузиазм, что он не мог сдержать эмоций и неосторожно рассказывал всем подряд о неземной любви, которая охватила его в последние минуты жизни Шарлотты.

Через два дня после казни Люкс издал длинный манифест; в нем он убеждал, что чистота побуждений вполне оправдывает поступок Шарлотты, превозносил ее наравне с Брутом и Катоном и страстно призывал народ воздать ей благоговейные почести. Здесь-то и было впервые употреблено слово «тираноубийство». Он открыто подписал документ своим именем, понимая, что за свое безрассудство заплатит жизнью.

24 июля, ровно через неделю после казни Шарлотты, Люкса арестовали. Влиятельные друзья сумели получить для него гарантию прощения и освобождения при условии публичного отречения от манифеста. Но он насмешливо и презрительно отверг это условие и с жаром заявил, что последует за той, которая зажгла в нем безнадежную, неземную любовь и сделала невыносимым его существование в этом мире.

Друзья продолжали бороться за него. Суд над Адамом Люксом удалось отложить. Они уговорили доктора Веткэна засвидетельствовать безумие Люкса, которого якобы свел с ума взгляд Шарлотты Корде. По их просьбе он составил документ, рекомендуемый ввиду несчастья молодого врача проявить к нему милосердие и отправить в госпиталь либо в Америку. Адам Люкс разозлился, когда услышал об этом, и яростно возражал против голословных утверждений доктора Веткэна. Он обратился в газет) монтаньяров, и та опубликовала 26 сентября его декларацию, в которой он утверждал, что пока не сошел с ума настолько, чтобы у него все еще оставалось желание жить, и что стремление к смерти есть доказательство разумности.

Люкс томился в тюрьме Ля Форс до 10 октября, когда был наконец вызван в суд. Он стоял, радостно возбужденный предстоящим избавлением. Он уверял, что не страшится гильотины, а все бесчестье подобной смерти уже смыто чистой кровью Шарлотты.

Судьи приговорили его к смерти, и он от души их благодарил.

— Прости, прекрасная Шарлотта, — воскликнул он, — если я не сумею под конец быть так же

смел и добр, как ты! Я горжусь твоим превосходством — ведь истина то, что любимый выше любящего.

Однако мужество, несмотря на всю его нервозность и экзальтацию, его не покинуло. В пять часов пополудни того же дня Адам Люкс прыгнул с телеги в жидкую тень гильотины. Он повернулся к народу; глаза его сияли, щеки пылали.

— Наконец-то я удостоился счастья умереть за Шарлотту, — сказал он и легкой поступью жениха на пути к брачному алтарю шагнул на эшафот.

## ПРЕКРАСНАЯ ДАМА. Из истории севильской инквизиции

Дурные предчувствия, словно грозовые тучи, нависли над городом Севильей с самого начала 1481 года. Атмосфера стала сгущаться с октября предыдущего года, когда кардинал Испании Томазо де Торквемада от имени монархов Фердинанда и Изабеллы назначил первых в Кастилии инквизиторов, велел им учредить в Севилье Святейший трибунал для искоренения вероотступничества, принявшего, как они полагали, угрожающие размеры в среде новых христиан, то есть совершивших обряд крещения евреев; эти новые христиане составляли значительную часть населения города.

Было издано много жестоких эдиктов, в частности евреям предписывалось носить отличительный знак в виде круглого красного лоскутка, пришитого к плечу длиннополой хламиды, в каких они обычно ходили. Они могли проживать только внутри обнесенных стенами гетто, никогда не выходя за их пределы в ночное время. Им запрещалось заниматься врачебной практикой, быть аптекарями и содержателями гостиниц и постоянных дворов. Стремясь освободиться от этих ограничений, а также от запретов на торговлю с христианами и сбросить непереносимое бремя унижения, многие евреи совершали обряд крещения и принимали христианство. Но даже те новообращенные, которые искренне приняли христианство, не могли найти в новой вере желанного покоя. Обращение в христианство лишь немного притупило неприязнь к евреям, но совсем ее не погасило.

Этим объяснялась тревога, с которой новые христиане наблюдали мрачное, почти траурное шествие: впереди шли инквизиторы в белых мантиях и черных плащах с капюшонами, почти закрывающими лица; за ними следовали монастырские служки и босые монахи. Процессия возглавлялась монахом-доминиканцем, несущим белый крест. Все эти люди наводнили Севилью в последние дни декабря, направляясь к монастырю Святого Павла, чтобы основать там Святую Палату инквизиции.

Опасение новых христиан, что именно они предназначены быть объектом особого внимания этого зловещего трибунала, вынудило несколько тысяч новообращенных покинуть город и искать убежища у феодалов, известных своей добротой. У герцога Мединского, маркиза Кадисского, графа Аркозского.

Это массовое бегство привело к опубликованию 2 января нового эдикта. В нем не знающие жалости инквизиторы, отметив что многие жители Севильи покинули город из страха быть наказанными за ересь, отдавали распоряжение всем дворянам принять меры для неукоснительного возвращения лиц обоего пола, нашедших убежище в их владениях или областях их юрисдикции, ареста беглецов и заключения их в тюрьму инквизиции в Севилье, конфискации их имущества и передачи его в распоряжение инквизиции. Объявлялось, что за укрытие беглецов последует отлучение виновных от церкви и другие наказания, вытекающие из закона о пособничестве еретикам.



Эдикт о наказании был вопиюще несправедлив, ибо до него не было указа о запрете на отъезд. Это усилило страх еще не уехавших новых христиан, число которых только в районе Севильи составляло около сотни тысяч и многие из них благодаря трудолюбию и одаренности, присущими этой расе, занимали довольно высокое положение. Этот эдикт встревожил также красивого молодого дон Родриго де Кардона, за всю свою пустую, бессмысленную, изнеженную и порочную жизнь ни разу не испытывавшего настоящей опасности. Нет, он не был новообращенным. Он происходил по прямой линии от вестготов, людей чистой, красной кастильской крови, и не имел ни капли той темной нечистой жидкости, которая, как полагали многие, течет в еврейских жилах. Но случилось так, что он полюбил дочь имевшего миллионное состояние Диего де Сусана, девушку такой редкой красоты, что вся Севилья называла ее Прекрасной Дамой. Разумеется, любовная связь, открытая или тайная, не одобрялась святыми отцами. Но не только поэтому встречи любовников были тайными: больше всего они боялись гнева отца Изабеллы, Диего де Сусана. Дону Родриго всегда было обидно, что он не может открыто бахвалиться своей победой над красивой и богатой Изабеллой.

...Никогда еще не спешил любовник на свидание с чувством, более горьким, чем то, что охватило дон Родриго, когда он, плотно закутанный в плащ, подошел к дому Изабеллы темной январской ночью. Однако, преодолев садовую ограду и легкий подъем на балкон, он оказался рядом с ней, и восхищение заслонило собой все прочие его чувства. Она сообщила ему в записке, что отец уехал в Палциос по торговым делам и должен был вернуться лишь на следующий день. Слуги уже спали, Родриго снял плащ и шляпу и непринужденно уселся на низкий мавританский диван, а Изабелла подала ему сарацинский кубок, наполненный добрым малатским вином. Стены были завешены гобеленами, пол покрывали дорогие восточные ковры. Высокая трехрожковая медная лампа, стоявшая на инкрустированном столе мавританского стиля, была заправлена ароматным маслом и распространяла свет и приятный запах по всей комнате.

Дон Родриго потягивал вино, влюбленно следя за движениями Изабеллы, полными почти кошачьей грациозности; вино, ее красота и дурманящий аромат лампы привели его чувства в такое смятение, что на мгновение он забыл и про свою кастильскую родословную, и про чистую христианскую кровь, забыл, что она принадлежит к проклятому народу, распявшему Спасителя. Он помнил лишь, что перед ним — самая красивая женщина Севильи, дочь богатейшего человека, и в этот час своей слабости он решил воплотить в реальность то, что до сих пор было лишь игрой. Он исполнит свое обещание. Он возьмет ее в жены. Поддавшись внезапному порыву, он неожиданно спросил:

— Изабелла, когда ты выйдешь за меня замуж? Она стояла перед ним, глядя на его слабовольное, красивое лицо, их пальцы переплелись. Она улыбнулась. Его вопрос не очень удивил или взволновал ее. Не подозревая о присущей ему подлости и охватившем его смятении, Изабелла сочла вполне естественным, что он просил ее назначить день свадьбы.

— Этот вопрос ты должен задать моему отцу, — ответила она.

— Я спрошу его завтра, когда он вернется, — сказал дон Родриго и притянул ее к себе.

Но ее отец был гораздо ближе, чем они думали. В эту самую минуту раздался звук осторожно отворяемой двери дома. Она побледнела и вскочила, высвободившись из его объятий. На мгновение напряженно застыв, девушка подбежала к двери и, приоткрыв ее, прислушалась.

С лестницы доносились звук шагов и приглушенные голоса. Это был ее отец и с ним еще несколько человек.

— Что, если они войдут? — прошептала она, еле живая от страха.

Кастилец в смятении поднялся с дивана, его обычно белое аристократическое лицо еще

больше побледнело.

У него не было иллюзий относительно того, что предпримет Диего де Сусан, обнаружив его здесь. Эти еврейские собаки крайне вспыльчивы и ревниво ограждают честь своих женщин. Дон Родриго живо представил свою красную чистую кровь на этом еврейском полу. У него не было с собой оружия, кроме тяжелого толедского кинжала за поясом, а Диего де Сусан был не один.

Положение, нелепое для испанского идадьго. Еще больший урон мог быть нанесен его чести, однако в следующее мгновение девушка спровадила его в альков, расположенный в конце комнаты за гобеленами, представлявший собой что-то вроде маленького чулана размером не больше шкафа для белья. Она двигалась с проворством, которое в другое время вызвало бы его восхищение. Схватив его плащ и шляпу, она погасила лампу и укрылась вместе с ним в этом тесном убежище.

Тотчас же в комнате раздались шаги и голос ее отца:

— Здесь нас никто не потревожит. Это комната моей дочери. Если позволите, я спущусь вниз и приведу остальных наших друзей.

Друзья собирались, как показалось Родриго, еще целых полчаса, пока в комнате не набралось, должно быть, человек двадцать. Приглушенный шум их голосов все усиливался, но ушей спрятавшейся пары достигали лишь отдельные слова, не дающие ключа к разгадке цели этого собрания.

Внезапно наступило молчание. И в этой тишине раздался громкий и ясный голос Диего де Сусана:

— Друзья мои, — произнес он. — Я собрал вас сюда для того, чтобы договориться о защите нас самих и всех новохристиан в Севилье от угрожающей нам опасности. Эдикт инквизиторов показал, как велика угроза. Ясно, что суд Святой Палаты вряд ли будет справедливым. Абсолютно невиновный в любой момент может быть отдан в жестокие руки инквизиции. Поэтому именно нам необходимо срочно решить, как защитить себя и свою собственность от беспринципных действий этого трибунала. Вы — самые влиятельные новообращенные граждане Севильи. Вы не только богаты; в вас верят и вас уважают люди, которые, если понадобится, пойдут за вами. Если больше ничто не поможет, мы должны обратиться к оружию. Будучи сплоченными и решительными, мы одержим победу над инквизиторами.

Сидя в алькове, дон Родриго с ужасом слушал эту речь, проникнутую призывом к бунту не только против королевской четы, но и против самой церкви. К этому ужасу примешивался еще и страх. Если и раньше его положение было рискованным, то теперь опасность увеличилась десятикратно. Если бы обнаружилось, что он подслушал сговор, его ждала бы немедленная смерть. Изабелла, понимая это, взяла его за руку и прижалась к нему в темноте.

Чем дальше, тем становилось страшнее. Призыв Сусана был встречен приглушенными аплодисментами, затем выступали другие, кое-кого называли по имени. Там присутствовали Мануэль Саули, богатейший после Сусана человек в Севилье, Торральба, губернатор Трианы, Хуан Аболафио, королевский откупщик, и его брат Фернандес, ученый, и другие. Все они были людьми состоятельными, а многие занимали высокие посты при королевском дворе. Но никто из них ни в чем не возражал Сусану, напротив, каждый стремился внести свой вклад в общее мнение. Было решено, что каждый возьмет на себя обязательство увеличить количество людей, оружия и денег для использования в случае необходимости. На этом собрание закончилось, и все разошлись. Сусан ушел вместе с остальными. И объявив, что ему предстоит еще работа, связанная с общим делом, которую он должен выполнить этой ночью, воспользовавшись тем, что его считают уехавшим из Палациоса.

Когда все ушли и в доме снова стало тихо, Изабелла и ее любовник выбрались из своего убежища и при свете лампы, оставленной Сусаном горячей, испуганно посмотрели друг на друга. Дон Родриго был так потрясен услышанным, что еле сдерживал клацанье зубов.

— Да защитит нас Бог, — с трудом, задыхаясь от волнения, произнес он. — Какое вероотступничество!

— Вероотступничество?! — воскликнула она. Вероотступничество, или возвращение новых христиан в иудаизм, считалось грехом, искупаемым только сожжением на костре.

— Не было здесь вероотступничества. Ты что, с ума сошел, Родриго! Ты не слышал ни единого слова, направленного против веры.

— Не слышал? Я услышал об измене, достаточной, чтобы...

— Нет, не было и измены. Ты слышал, как честные, достойные люди обсуждали, как им защититься от угнетения, несправедливости и злой корысти, прикрываемых святыми одеждами веры.

Он искоса посмотрел на нее и презрительно усмехнулся.

— Конечно, ты хотела бы оправдать их, — сказал он. — Ты и сама из того же подлого племени. Но не думай обмануть меня, в чьих жилах течет истинно христианская кровь верного сына Матери-Церкви! Эти люди замышляют черное дело против Святой Инквизиции. Что это, как не повторное обращение в иудаизм, ведь все они евреи?

Губы ее побледнели, она взволнованно дышала, но все еще пыталась переубедить его.

— Они не евреи, ни один из них не еврей! Например, Перес сам служит в Святом ордене. Все они христиане и...

— Новоокрещенные, — прервал он, зло усмехаясь, — осквернившие это святое таинство ради мирских выгод. Евреями они родились, евреями и останутся даже под личиной притворного христианства и, как евреи, будут прокляты в свой последний час.

Он задышался от негодования. Лицо этого грязного распутника пылало священным гневом.

— Боже, прости меня, что я приходил сюда. И все же я верю, что это по его воле я оказался здесь и услышал этот разговор. Позволь мне уйти.

С выражением крайнего омерзения он повернулся. Она схватила его за руку.

— Куда ты идешь? — резко спросила она. Он посмотрел ей в глаза, но увидел в них только страх. Он не заметил ненависти, в которую в эту минуту превратилась ее любовь, превратилась из-за страшных оскорблений, нанесенных ей, ее дому, ее народу. Она вдруг разгадала его намерения.

— Куда? — повторил он, пытаясь вырваться. — Куда приказывает мне мой христианский долг.

Этого было достаточно. Не дав ему опомниться, она выхватила у него из-за пояса тяжелый толедский кинжал и, держа его наготове, встала между ним и дверью.

— Минутку, дон Родриго. Не пытайся уйти, или я, клянусь Богом, ударю и, возможно, убью тебя. Нам нужно поговорить до твоего ухода.

Изумленный, дрожащий, он застыл перед ней, и весь его наигранный религиозный пыл сразу

же улетучился от страха при виде кинжала в слабой женской руке. Так за один вечер она постигла истинную сущность этого кастильского дворянина, любовью которого раньше гордилась. Это открытие должно было бы вызвать в ней чувства презрения и ненависти к себе самой. Но в ту минуту она думала только о том, что из-за ее легкомыслия над отцом нависла смертельная опасность. Если отец погибнет из-за доноса этого негодяя, она будет считать себя отцеубийцей.

— Ты не подумал, что твой донос погубит моего отца? — сказала она тихо.

— Я должен считаться с моим христианским долгом, — ответил он, на сей раз не так уверенно.

— Возможно. Но ты должен противопоставить этому и другое. Разве у тебя нет долга возлюбленного, долга передо мной?

— Никакой мирской долг не может быть выше долга религиозного.

— Подожди. Имей терпение. Просто ты не все обдумал. Придя сюда тайно, ты причинил зло моему отцу. Ты не можешь отрицать этого. Мы вместе, ты и я, опозорили его. И теперь ты хочешь воспользоваться плодами этого греха, воспользоваться как вор; хочешь причинить еще большее зло моему отцу?

— Что же мне, идти против своей совести? — спросил он угрюмо.

— Боюсь, что у тебя нет другого выхода.

— Погубить мою бессмертную душу? — Он почти смеялся. — Ты зря стараешься.

— Но у меня для тебя есть нечто большее, чем слова. —левой рукой она вытянула из-за пазухи висящую у нее на шее изящную золотую цепочку и показала на маленький крест, усыпанный бриллиантами. Сняв цепочку через голову, она протянула ее ему.

— Возьми, — приказала она. — Возьми, я сказала. Теперь, держа в руке этот священный символ, торжественно поклянись, что ты не разгласишь ни слова из того, что услышал сегодня. Иначе ты умрешь, не получив отпущения грехов. Если ты не дашь клятву, я подниму сүйі. и они поступят с тобой, как с проникшим в дом злодеем. — Затем, глядя на него от двери, она почти шепотом предостерегла его еще раз.

— Живее! Решайся: предпочтешь ты умереть здесь без покаяния и погубить навеки свою бессмертную душу, побуждающую тебя к этому предательству, или дать клятву, которую я требую?

Он начал было спор, напоминающий проповедь, но она резко оборвала его:

— Я спрашиваю в последний раз: ты принял решение?

Разумеется, он выбрал долю труса, совершив насилие над своим чувствительным самолюбием: держа в руке крест, повторил за ней слова этой страшной клятвы, нарушение которой должно было навеки погубить его бессмертную душу. Думая, что нарушить такую клятву он не сможет, она вернула ему кинжал и позволила уйти, уверенная, что крепко связала его нерушимыми религиозными обетами.

И даже на следующее утро, когда ее отец и все, кто присутствовал на собрании в доме, были арестованы по приказу Святой Палаты инквизиции, она все еще не могла поверить в его клятвопреступление. Но все же в ее душу закралось сомнение, которое она должна была разрешить любой ценой. Девушка приказала подать носилки и отправилась в монастырь Святого Павла, где попросила встречи с Альфонсо де Оеда, доминиканским приором

Севильи.

Ее оставили ждать в квадратной, мрачной, плохо освещенной комнате, пропахшей плесенью. В комнате было только два стула и молитвенная скамейка. Единственным украшением служило большое темное распятие, висевшее на побеленной стене.

Вскоре сюда вошли два монаха-доминиканца. Один — среднего роста, с грубыми чертами лица и плотного телосложения — был непреклонный фанатик Оеда. Другой — высокий и худой, с глубоко посаженными блестящими черными глазами и мягкой печальной улыбкой — был духовник королевы, Томаз де Торквемада, главный инквизитор Испании. Он подошел к ней, оставив Оеду позади, и остановился, глядя на нее с бесконечной добротой и состраданием.

— Ты дочь этого заблудшего человека, Диего де Сусана, — мягко произнес он. — Да поможет и укрепит Господь тебя, дитя мое, перед испытаниями, которые, может быть, предстоят тебе. Какой помощи ты ждешь от нас? Говори, дитя мое, не бойся.

— Святой отец, — запинаясь, проговорила она. — Я пришла молить вас о милости.

— Нет нужды молить, дитя мое. Разве могу я отказать в сострадании, я, сам нуждающийся в нем, будучи таким же грешником, как и все.

— Я пришла просить милосердия к моему отцу.

— Так я и думал. — Тень пробежала по его кроткому, грустному лицу. Выражение нежной грусти в его глазах, устремленных на нее, усилилось. — Если твой отец не повинен в том, что ему приписывают, то милосердный трибунал Святой Палаты явит его невиновность свету и возрадуется. Если же он виновен, если он заблудился, — а все мы, если не укреплены Божьей милостью, можем заблудиться, — то ему дадут возможность искупления грехов, и он может быть уверен в своем спасении.

Изабелла задрожала, услышав это. Она знала, какую милость проявляют инквизиторы. Милость настолько одухотворенную, что ей безразличны страдания людей, которые бывают ею осчастливлены.

— Мой отец не повинен в каком-либо прегрешении против веры, — сказала она.

— Ты так уверена? — прервав ее, прокаркал своим неприятным голосом Оеда. — Хорошенько подумай. И помни, что твой долг христианки превышает долг дочери.

Девушка чуть было прямо не потребовала назвать имя обвинителя своего отца, что, собственно, и было истинной целью ее визита, но успела сдержать свой порыв, понимая, что в этом деле необходима хитрость. Прямой вопрос мог вообще закрыть возможность что-то узнать. Тогда она искусно выбрала направление атаки.

— Я уверена, — заявила она, — что он более пылкий и благочестивый христианин, чем его обвинитель, хотя и новообращенный.

Выражение задумчивости исчезло из глаз Торквемады.

Глаза инквизитора стали пронзительными, как глаза ищейки, устремленные на след. Однако он покачал головой.

Оеда заспорил.

— В это я не могу поверить, — сказал он. — Донос был сделан из настолько чистых побуждений, что доносивший, не колеблясь, сознался в собственном грехе, вследствие

которого он узнал о предательстве дона Диего и его сообщников.

Изабелла чуть было не вскрикнула от боли, услышав ответ на свой невысказанный вопрос. Но сдержала себя и, чтобы не оставалось ни малейшего сомнения, храбро продолжала бить в одну точку.

— Он сознался? — воскликнула она, сделав вид, что поражена услышанным. Монах важно кивнул.

— Дон Родриго сознался? — настаивала она, как бы не веря.

Монах кивнул еще раз и внезапно спохватился.

— Дон Родриго? — переспросил он. — Кто сказал — дон Родриго?

Но было уже поздно. Его утвердительный кивок выдал правду, подтвердил ее наихудшие подозрения. Она покачнулась, комната поплыла у нее перед глазами, девушка почувствовала, что теряет сознание. Но внезапно слепая ненависть к этому клятвопреступнику охватила ее, придав силы. Если ее слабость и непокорность будут стоять отцу жизни, то именно она должна теперь отомстить за нет. даже если это унизит ее и разобьет ей жизнь.

— И он сознался в своем собственном грехе? — медленно повторила Изабелла тем же задумчивым, недоверчивым тоном. — Отважился сознаться в том, что он подлый вероотступник?

— Вероотступник? Дон Родриго? Этого не может быть!

— Но мне показалось, вы сказали, что он сознался.

— Да, но... но не в этом.

На ее бледных губах заиграла презрительная улыбка.

— Понимаю. Он не преступил пределов благоразумия в своей исповеди. И не упомянул о своем вероотступничестве. Он не рассказал вам, что этот донос он совершил, мстя мне за то, что я отказалась выйти за него замуж, узнав о его вероотступничестве и испугавшись наказания в этом и в будущем мире.,

Оеда уставился на нее с нескрываемым изумлением.

Тогда заговорил Торквемада:

— Ты говоришь, что дон Родриго де Кардона — вероотступник? В это невозможно поверить.

— Я могу представить вам доказательства, которые должны убедить вас.

— Так представь их нам. Это твой священный долг, иначе ты сама станешь укрывательницей ереси и можешь быть подвергнута суровому наказанию.

Примерно через полчаса Изабелла покинула монастырь Святого Павла и направилась домой. В ее душе царил ад. Не было теперь у нее другой цели в жизни, кроме желания отомстить за своего отца, погибшего из-за ее легкомыслия.

Проезжая мимо Алкасара, девушка заметила высокого стройного человека в черной одежде, в котором узнала своего возлюбленного. Она направила к нему пажа, шедшего рядом с ее носилками, чтобы позвать к себе. После всего случившегося просьба эта немало удивила Родриго. К тому же, учитывая теперешнее положение ее отца, ему не очень-то хотелось,

чтобы его видели в обществе Изабеллы де Сусан. Но все же он подошел, влекомый любопытством.

Ее приветствие еще больше удивило его.

— Ты, наверное, знаешь, у меня большая беда, Родриго, — грустно сказала она. — Ты слышал, что случилось с моим отцом.

Он внимательно посмотрел на нее, но не увидел ничего, кроме ее очарования, подчеркнутого печалью. Было ясно, что она не подозревает его в предательстве, как и не сознает того, что клятва, силой вырванная у него, более того, клятва, вероломная по отношению к святому долгу, не может считаться обязывающей.

— Я... я услышал об этом час назад, — соврал он неуверенно. — Я... я глубоко тебе сочувствую.

— Я заслуживаю сочувствия, — ответила Изабелла. — Его заслужили и мой бедный отец, и его друзья. Очевидно, среди тех, в кого он верил, был предатель, шпион, который сразу после встречи донес на них. Если бы у меня был список присутствовавших, то было бы легко выявить предателя. Достаточно знать, кто там был и кто не был потом арестован.

Ее прекрасные грустные глаза внимательно смотрели на него.

— Но что станет теперь со мной, такой одинокой в этом мире? — спросила она его. — Мой отец был единственным моим другом.

Эта мольба быстро сделала свое дело: он увидел прекрасную возможность проявить великодушие, почти ничем не рискуя.

— Единственным другом? — спросил он, понизив голос. — Разве не было еще одного. И разве нет еще одного, Изабелла?

— Был... — тяжело вздохнув, ответила она. — Но после того, что произошло прошлой ночью, когда... Ты знаешь, о чем я. Тогда я потеряла голову от страха за моего бедного отца и потому не могла даже осознать ни всей мерзости его поступка, ни того, как прав был ты, когда хотел донести на него. Но все же мне приятно, что его взяли не по твоему доносу. Это сейчас мое единственное утешение.

В этот момент они достигли ее дома. Дон Родриго предложил ей руку, чтобы помочь спуститься с носилок, и попросил разрешения зайти вместе с ней в дом. Но девушка не пустила его.

— Не сейчас, хоть я и благодарна тебе, Родриго. Если ты захочешь прийти и утешить меня, то скоро сможешь это сделать. Я дам тебе знать, когда буду готова принять тебя, конечно, если ты простишь меня...

— Не говори так, — попросил он. — Ты поступила благородно. Это я должен просить у тебя прощения.

— Ты великодушен и благороден, дон Родриго. Да хранит тебя Господь! — сказала она и ушла.

До встречи с ней он был удручен и почти несчастен, поняв, какую совершил ошибку. Предавая Сусана, он действовал отчасти в порыве гнева, отчасти — религиозного долга. Горько сожалея о потере, он корил себя за то, что не сумел сдержать гнева, у него зародилось сомнение, стоит ли так строго выполнять религиозный долг тому, кто хочет сам пробить себе дорогу в этом мире. Короче, его раздирали самые противоречивые чувства.

Теперь, убедившись в ее неведении, он снова обрел надежду. Изабелла никогда ничего не узнает: Святая Палата строго охраняла тайну доносов, чтобы не отпугнуть доносчиков, и никогда не устраивала очных ставок обвинителя с обвиняемым, как это происходило в гражданских судах. Настроение дона Родриго после встречи с Изабеллой намного улучшилось.

На другой день он открыто нанес ей визит, но не был принят. Слуга сослался на ее нездоровье. Это вызвало в нем тревогу, несколько ослабив надежды, но вместе с тем усилило его устремления. На следующий день он получил от нее письмо, щедро вознаградившее его за все тревоги.

«Родриго, есть дело, о котором мы должны договориться как можно скорее. Если мой бедный отец будет обвинен в ереси и осужден, то его имущество будет конфисковано, ведь я как дочь еретика, не могу его унаследовать. Меня это мало тревожит. Но я беспокоюсь о тебе, Родриго, так как, если вопреки всему случившемуся, ты все еще желаешь взять меня в жены, как ты предложил в понедельник, то я хотела бы принести тебе богатое приданое. Ведь наследство, которое Святая Палата конфисковала бы у дочери еретика, не может быть в полной мере конфисковано у жены кастильского дворянина. Больше не скажу ничего. Тщательно обдумай все и реши так, как подсказывает тебе сердце. Я приму тебя завтра, если ты придешь ко мне».

Она предлагала ему хорошенько подумать. Но это дело не нуждалось в долгом обдумывании. Диего де Сусана наверняка отправят на костер. Его состояние оценивалось в десять миллионов мараведи. У Родриго появилась счастливая возможность сделать это состояние своим, если он женится на красавице Изабелле до вынесения приговора ее отцу. Святая Палата может наложить штраф, но дальше этого не пойдет, поскольку дело касается чистокровного кастильского дворянина. Он восхищался ее проницательностью и удивлялся своей удаче. Все это также очень льстило его тщеславию.

Он написал ей три строчки, торжественно заявляя о своей вечной любви и решении жениться на ней завтра, 11 на следующий день явился к ней собственной персоной, чтобы выполнить это решение.

Изабелла приняла его в лучшей комнате дома, обставленной с такой роскошью, какой не мог бы похвастаться ни один другой дом Севильи. Она надела к этой встрече очаровательный экстравагантный наряд, подчеркивающий ее природную красоту. Высоко приталенное платье с глубоким вырезом и тесно облегающим лифом было сшито из парчи, юбка, манжеты и вырез оторочены белым горностаевым мехом. Высокую шею украшало бесценное кольцо из прозрачных бриллиантов, а в тяжелые косы цвета бронзы была вплетена нитка блестящих жемчужин.

Никогда еще дон Родриго не находил ее такой желанной, никогда прежде не чувствовал себя таким спокойным и счастливым. Кровь прилила к его оливкового цвета лицу, он заключил ее в объятия, целуя ее щеки, губы, шею.

— Моя жемчужина, моя прелесть, моя жена! — восторженно шептал он. Затем добавил нетерпеливо: — Священник! Где священник, что соединит нас?

Она только прижалась к его груди, и ее губы сложились улыбку, которая сводила его с ума.

— Ты любишь меня, Родриго, несмотря ни на что?

— Люблю тебя! — Это был трепещущий, приглушенный, почти нечленораздельный возглас.  
— Больше жизни, больше, чем вечное блаженство.

Она вздохнула, глубоко удовлетворенная, и еще сильнее прильнула к нему.



— О, я счастлива! Счастлива, что твоя любовь ко мне действительно сильна. Однако хочу подвергнуть ее проверке.

— Какой проверке, любимая?

— Я хочу, чтобы эти брачные узы были настолько крепкими, чтобы ничто на свете, кроме смерти, не могло разорвать их.

— Но я хочу того же, — промолвил он, хорошо сознавая выгодность для себя этого брака.

— Хотя я и исповедую христианство, в моих жилах течет еврейская кровь, поэтому я желала бы бракосочетаться так, чтобы это устроило и моего отца, когда он снова выйдет на свободу. Я верю, что он вернется, потому что он не погрешил против святой веры.

Изабелла умолкла, а он почувствовал беспокойство, несколько охладившее его пыл.

— Что ты имеешь в виду? — напряженно спросил он.

— Я хочу сказать... ты не будешь на меня сердиться? Я хочу, чтобы наш брак был освящен не только христианским священником, но сначала раввином в соответствии с иудейским обрядом.

Она почувствовала, что его руки словно обессилели, и он ослабил свои объятия, поэтому прижалась к нему еще крепче.

— Родриго! Родриго! Если ты воистину любишь меня, если действительно желаешь меня, ты не откажешь мне в этой просьбе; я клянусь тебе, что, как только мы поженимся, ты больше никогда не услышишь ничего, что напомнило бы тебе о моем происхождении.

Он ужасно побледнел, губы его задрожали, и капли пота выступили на лбу.

— Боже мой! — простонал он. — Чего ты просишь? Я... я не могу. Это же святотатство, оскорбление веры. Изабелла с гневом оттолкнула его.

— Ах вот как! Ты клянешься мне в любви, но хотя я готова пожертвовать всем ради тебя, не делаешь принести мне эту маленькую жертву и даже оскорбляешь веру моих предков. Я лучше думала о тебе, иначе не просила бы сегодня прийти сюда. Оставь меня.

Дрожащий, в полном смятении, охваченный бурей противоречивых чувств, он пытался защититься, оправдаться, переубедить ее. Его возбужденная речь лилась непрерывно, но впустую. Девушка оставалась холодной и равнодушной настолько, насколько раньше была нежной и страстной. Он доказал, чего стоит его любовь. Он может идти своей дорогой.

Для него принять ее предложение действительно означало бы осквернить веру. Однако от мечты стать обладателем десяти миллионов мараведи и ни с кем не сравнимой по красоте женщины было не так-то легко отказаться. Он был достаточно алчен от природы и к тому же сильно нуждался в деньгах, потому готов был уже смириться с участием в отвратительном ему ритуале венчания, лишь бы осуществить эту свою мечту. Но, хотя сомнения христианина почти исчезли, оставался страх.

— Ты ничего не понимаешь! — воскликнул он. — Если бы стало известно, что я могу допустить возможность такой процедуры, Святая Палата сочла бы это несомненным доказательством вероотступничества и послала бы меня на костер.

— Ну, если это единственное препятствие, то оно легко преодолимо, — холодно сказала она. — Кому на тебя доносить? Раввину, что ждет наверху, донос будет стоить собственной жизни, а кто еще будет об этом знать?

Он был побежден. Но теперь уже Изабелла решила поиграть им немного, заставляя его преодолевать неприязнь, возникшую в ней из-за его недавней нерешительности. Эта игра продолжалась до тех пор, пока он сам не начал настойчиво умолять ее о быстрейшем совершении еврейского обряда бракосочетания, вызывавшего в нем еще недавно такое отвращение.

Наконец она сдалась и провела его в свою комнату, где когда-то встречались заговорщики.

— Где же раввин? — спросил он нетерпеливо, оглядывая пустую комнату.

— Я позову его, если ты действительно уверен, что хочешь этого.

— Уверен? Разве я недостаточно ясно подтвердил это? Ты до сих пор сомневаешься во мне?

— Нет, — сказала девушка. Она была как бы безучастна ко всему, но на самом деле искусно управляла им. — Но я не хочу, чтобы люди думали, будто тебя к этому принудили.

Это были очень странные слова, но он не обратил внимания на них. Он вообще не отличался сметливостью.

— Я настаиваю, чтобы ты подтвердил, что сам желаешь, чтобы наш брак был заключен в соответствии с еврейскими традициями и по закону Моисея.

И он, подогреваемый нетерпением, желая быстрее покончить с этим делом, поспешно ответил:

— Конечно же, я заявляю, что я хочу, чтобы наш брак был заключен по еврейскому обычаю и в соответствии с законом Моисея, а теперь, где же раввин? — Он услышал звук и заметил дрожание гобелена, маскировавшего дверь алькова.

— А! Он, наверное, здесь...

Он неожиданно замолк и отпрянул, как от удара, судорожно вскинув руки. Гобелен откинулся, и оттуда вышел не раввин, которого он ожидал видеть, а высокий худой монах, слегка ссутулившийся в плечах, одетый в белую рясу и черный плащ ордена Святого Доминика. Лицо его было спрятано под сенью черного капюшона. Позади него стояли два мирских брата этого ордена, вооруженные служители Святой Палаты с белыми крестами на черных камзолах.

В ужасе от этого видения, вызванного казалось, только что произнесенными им святотатственными словами, дон Родриго несколько мгновений стоял неподвижно в тупом изумлении, даже не пытаясь осознать смысл происшедшего.

Монах откинул капюшон, и глазам Родриго открылось ласковое, проникнутое сочувствием, бесконечно грустное лицо Томазо де Торквемады. Грустью и состраданием был также проникнут голос этого глубоко искреннего и святого человека.

— Сын мой, мне сказали, что ты вероотступник. Однако, чтобы поверить в такую невероятную для человека твоего происхождения вещь, я должен был лично убедиться в этом. О, мой бедный сын, по чьему злему умыслу ты так далеко отошел от пути истинного?

В чистых грустных глазах инквизитора блеснули слезы. Его мягкий голос дрожал от скорбного сочувствия.

И тут ужас дон Родриго сменился гневом. Резким жестом он указал на Изабеллу.

— Вот эта женщина заколдовала, одурачила и совратила меня! Она заманила меня в ловушку, чтобы погубить.

— Верно, в ловушку. Она получила мое согласие на это, чтобы испытать твою веру, которая, как мне говорили, не тверда. Будь твое сердце свободно от ереси, ты никогда бы не попал в эту ловушку. Если бы у тебя была крепкая вера, сын мой, ничто не могло бы отвратить тебя от верности нашему Спасителю.

— Господи! Молю тебя, услышь меня, Господи! — Родриго упал на колени, подняв к нему сложенные в умоляющем жесте руки.

— Ты будешь услышан, сын мой. Святая Палата никого не осуждает, не выслушав. Но на что ты можешь надеяться, взывая к Господу? Мне говорили, что ты ведешь беспорядочную жизнь повесы, и я страшился за тебя, узнав, как широко ты открыл злу врата своей души. Но, понимая, что годы и разум часто исправляют и искупают грехи молодости, я надеялся и молился за тебя. Но предположить, что ты станешь вероотступником, что твое супружество может быть закреплено нечистыми узами иудаизма... О! — Грустный голос прервался рыданием, и Торквемада закрыл свое бледное лицо длинными, истощенными, почти прозрачными руками.

— Молись теперь, дитя мое, о милости и силе Божьей, — сказал он. — Претерпи небольшое предстоящее тебе мирское страдание во искупление своей ошибки, и когда твое сердце преисполнится раскаянием, ты получишь спасение от Божественного милосердия, не имеющего границ. Я буду молиться за тебя. Больше я для тебя ничего не могу сделать. Уведите его.

6 февраля того же 1481 года Севилья стала свидетелем первого аутодафе. Наказанию подверглись Диего де Сусан, другие заговорщики и дон Родриго де Кордова. Торжественная церемония проводилась относительно скромно, не с такой мрачной пышностью, как впоследствии. Но все основные элементы уже присутствовали.

Впереди процессии шел закутанный в траурное покрывало монах-доминиканец и нес зеленый крест инквизиции. За ним шли попарно члены братства Святого Павла-мученика, монастырские служки Святой Палаты. Далее босиком, со свечами в руках — осужденные, одетые в рубище кающихся грешников, позорного желтого цвета.

Окруженные стражами с алебардами, они прошли по улицам до кафедрального собора, где мрачный Оеда отслужил мессу и прочитал проповедь. После этого их увели за город на Табладскне луга, где их уже ждали столбы и хворост.

Таким образом, доносчик была казнен той же смертью, что и его жертвы. Так Изабелла де Сусан, известная как Прекрасная Дама, вероломно отомстила своему недостойному возлюбленному за его собственное вероломство, ставшее причиной гибели ее отца...

Когда все было кончено, она нашла убежище в монастыре. Но вскоре покинула его, не приняв пострига. Прошлое не давало ей покоя, и она вернулась в свет, пытаясь в его волнениях найти забвение, которого не дал ей монастырь и могла дать только смерть. В своем завещании она выразила желание, чтобы ее череп был повешен над входом в ее дом в Каппе де Атаун как символ посмертного искупления грехов. И этот голый оскаленный череп когда-то прекрасной головы висел там почти четыре сотни лет. Его видели еще легионы Бонапарта, разрушившие Святую Палату инквизиции.